

Илья Эренбург

ОТТЕШЕЛЬ

ИЛЪЯ ЭРЕНБУРГ · ОТТЕШЕЛЬ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ОТТЕПЕЛЬ

Новель

Советский писатель

МОСКВА

1954

Мария Ильинишна волновалась, очки сползали на кончик носа, а седые кудряшки подпрыгивали. Она объявила:

— Слово предоставляется товарищу Брайнину. Подготовиться товарищу Коротееву.

Дмитрий Сергеевич Коротеев чуть приподнял узкие темные брови — так всегда бывало, когда он удивлялся; между тем он знал, что ему придется выступить на читательской конференции: его давно об этом попросила библиотекарша Мария Ильинишна, и он согласился.

На заводе все относились к Коротееву с уважением. Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Коротеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал. Дмитрия Сергеевича ценили, однако, не только как хорошего инженера, — поражались его всесторонним знаниям, уму, скромности. Главный конструктор Соколовский, человек, по общему мнению, язвительный, ни разу не сказал о Коротееве дурного слова. А Мария Ильинишна, как-то побеседовав с Дмитрием Сергеевичем о литературе, восторженно рассказывала: «Чехова он исключительно чувствует!» Ясно, что читательская конференция, к которой она готовилась больше месяца, как школьница к трудному экзамену, не могла пройти без Коротеева.

Инженер Брайнин разложил перед собой кипу бумажек; говорил он очень быстро, как будто боялся, что не успеет всего сказать, иногда мучительно запинаясь, надевал очки и рылся в бумажках.

— Несмотря на недостатки, о которых правильно говорили выступавшие до меня, роман имеет, так сказать, большое воспитательное значение. Почему агронома Зубцова постигла неудача в деле лесонасаждения? Автор правильно, так сказать, поставил проблему — Зубцов недопонимал значение критики и самокритики. Конечно, ему мог бы помочь секретарь парторганизации Шебалин, но автор ярко показал, к чему приводит пренебрежение принципом коллегиального руководства. Роман сможет войти в золотой фонд нашей литературы, если автор, так сказать, учтет критику и переработает некоторые эпизоды...

В клубе было полно, люди стояли в проходах, возле дверей. Роман молодого автора, изданный областным издательством, видимо, взволновал читателей. Но Брайнин извел всех и длиннущими цитатами, и «так сказать», и скучным, служебным голосом. Ему для приличия скупо похлопали. Все оживились, когда Мария Ильинишна объявила:

— Слово предоставляется товарищу Коротееву. Подготовиться товарищу Столяровой.

Дмитрий Сергеевич говорил живо, его слушали. Но Мария Ильинишна хмурилась: нет, о Чехове он иначе разговаривал. Почему он налетел на Зубцова? Чувствуется, что роман ему не понравился... Коротеев, однако, хвалил роман: правдивы образы и самодура Шебалина и молодой честной коммунистки Федоровой. Да и Зубцов выглядит живым.

— Скажу откровенно, мне только не понравилось, как автор раскрывает личную жизнь Зубцова. Случай, который он описывает, прежде всего малоправдоподобен. А уж типического здесь ничего нет. Читатель не верит, что чересчур самоуверенный, но честный агроном влюбился в жену своего товарища, женщину кокетливую и ветреную, с которой у него нет общих духовных интересов. Мне кажется, что автор погнался за дешевой занимательностью. Право же, наши совет-

ские люди душевно чище, серьезнее, а любовь Зубцова как-то механически перенесена на страницы советского романа из произведений буржуазных писателей...

Коротеева проводили аплодисментами. Одним понравилась ирония Дмитрия Сергеевича: он рассказал, как молодые писатели, приезжая в творческую командировку, с блокнотом, бегло расспрашивают десяток людей и объявляют, что «собрали материал на роман». Другим польстило, что Коротеев считает их людьми более благородными и душевно более сложными, чем герой романа. Третьи аплодировали потому, что Коротеев — вообще умница.

Журавлев, который сидел в президиуме, громко сказал Марии Ильинишне: «Хорошо он его высек, это бесспорно». Мария Ильинишна ничего не ответила.

Жена Журавлева, Лена, учительница, кажется, одна не аплодировала. Всегда она оригинальничает, — вздохнул Журавлев.

Коротеев сел на свое место и смутно подумал: начинается грипп. Глупо теперь расхвораться: на мне проект Брайнина. Не нужно было выступать: повторял азбучные истины. Голова болит. Здесь невыносимо жарко.

Он не слушал, что говорила Катя Столярова, и вздрогнул от хлопков, которые прервали ее слова. Катю он знал по работе: это была веселая девушка, белесая, безбровая, с выражением какого-то непрерывного восхищения жизнью. Он заставил себя прислушаться. Катя ему возражала:

— Не понимаю товарища Коротеева. Я не скажу, что этот роман классически написан, как, например, «Анна Каренина», но он захватывает. Я это от многих слышала. Буржуазные писатели ни при чем. У человека, по-моему, сердце, вот он и мучается. Что тут плохого? Я прямо скажу, у меня в жизни тоже были такие моменты... Одним словом, это берет за душу, так что нельзя отметать..

Коротеев подумал: ну кто бы мог сказать, что смешливая Катя уже пережила какую-то драму? «У человека сердце»... Он вдруг забылся, не слушал больше выступавших, не видел ни Марии Ильинишны,

ни колючей буро-серой пальмы, ни щитов с книгами, — глядел на Лену, и все терзания последних месяцев ожили. Лена ни разу на него не посмотрела, а он этого хотел и боялся. Так теперь бывало всякий раз, когда они встречались. А ведь еще летом он с ней непринужденно разговаривал, шутил, спорил. Тогда он часто бывал у Журавлева, хотя в душе его недолюбливал — считал чересчур благодушным. Бывал он у Журавлева скорее всего потому, что ему было приятно разговаривать с Леной. Интересная женщина, в Москве я такой не встретил. Конечно, здесь меньше трескотни, люди больше читают, есть время подумать. Но Лена и здесь исключение, чувствуется глубокая натура. Непонятно даже, как она может жить с Журавлевым, она на голову выше его. Но живут они как будто дружно, дочке уже пять лет...

Тогда Коротеев спокойно любовался Леной. Молодой инженер Савченко как-то сказал ему: «По-моему, она настоящая красавица». Дмитрий Сергеевич покачал головой: «Нет... Но лицо запоминающееся.» У Лены были золотистые волосы, на солнце рыжие, и зеленые туманные глаза, иногда задорные, иногда очень печальные, а чаще всего непонятные, — кажется, еще минута, и она вся пропадет, исчезнет в косом луче пыльного комнатного солнца.

Хорошо было тогда, подумал Коротеев. Он вышел на улицу. Ну, и метель! А ведь когда я шел в клуб, было тихо...

Коротеев шел в полузабытьи, не помнил ни о читательской конференции, ни о своем выступлении. Перед ним была Лена — разорение его жизни, лихорадочные мечты последних недель, бессилие перед собой, которого он прежде не знал. Правда, товарищи считали его удачником — все у него получалось, и за два года он обрел всеобщее признание. Но ведь позади у него были не только эти два года; недавно ему исполнилось тридцать пять, и не всегда жизнь его баловала. Он умел бороться с трудностями. Его лицо, длинное и сухое, с высоким выпуклым лбом, с серыми глазами, иногда холодными, иногда ласково-снисходительными, с упрямой складкой возле рта, выдавало волю.

Он был в десятом классе, когда пережил первое большое испытание. Осенью 1936 года его отчима арестовали. Утром он встретил возле дома своего лучшего друга Мишу Грибова. Коротеев его окликнул — хотел поделиться горем, спросить, как ему быть. Но Миша насупился и, ничего не сказав, перешел на другую сторону улицы. Вскоре Коротеева исключили из комсомола. Мать плакала: «При чем тут ты?..» Он ее утешал: «Так нельзя рассуждать. Это частный случай...» Он пошел на завод; не озлобился, не отъединился, нашлись новые товарищи, работой он был доволен, а по вечерам занимался, говорил матери, что через несколько лет будет студентом.

Через несколько лет в знойный август он шагал по степи с отступавшей дивизией. Он был мрачен, но не падал духом. Почему-то именно на нем сорвал злобу генерал, обозвал его перед всеми трусом и шкурником, грозил отдать под суд. Коротеев спокойно сказал товарищу: «Это хорошо, что он ругается. Значит, выкарабкаемся...» Вскоре после этого осколок снаряда попал ему в плечо. Он пролежал в госпитале полгода, потом вернулся на фронт и провоевал до конца. Был он влюблен в связистку Наташу; их батальон уже сражался в Бреслау, когда выяснилось, что она отвечает ему взаимностью; она сказала: «Вид у тебя холодный, даже подойти страшно, а сердце — нет, я это сразу почувствовала...» Он мечтал: кончится война, будет счастье. Наташа погибла нелепо — от мины, взорвавшейся на улице Дрездена десятого мая, когда никто больше не думал о смерти. Коротеев свое горе пережил стойко, никто из товарищей не догадывался, как ему тяжело. Только много времени спустя, когда мать ему сказала: «Почему не женишься? Ведь тебе за тридцать, умру — и присмотреть некому», — он признался: «Я, мама, счастье на войне потерял. Теперь мне это в голову не лезет...»

В часы тоски он знал одно лекарство: работу. Он кончил машиностроительный институт. Его дипломная работа понравилась; хотели оставить его при институте, но кто-то за кого-то попросил, и Коротеева отправили на завод в приволжский город. Здесь-то люди

увидели удачника, человека, у которого все получается. Журавлев, недоверчиво относившийся к молодым, сразу оценил способности Коротеева. Дмитрия Сергеевича выбрали в горсовет; часто он выступал с докладами. Рабочие охотно с ним делились своими мыслями, считали, что он человек честный и не испорченный положением.

Что же с ним приключилось? Почему он перестал управлять собой? Почему, щаяга сквозь метель, угрюмо думал о Лене? Нет, не думал, только чувствовал, что она не уйдет из его жизни. Что за наваждение? Глупо все вышло, по-детски. Да и не вяжется со всей его жизнью...

Метель не унималась, снег слепил, глушил. Вдруг Коротеев остановился; никого кругом не было, а он приподнял брови и засмеялся — вспомнил свое выступление на читательской конференции. Разве не смешно? Подымаюсь на трибуну и преспокойно доказываю, что такого вообще не бывает. Писатель придумал Зубцова, заставил его влюбиться по уши в жену товарища, осрамил перед всеми, а затем, чтобы свести концы с концами, отправил в Заполярье. Разумеется, Коротеев протестует: «Это дешевый эффект, это не типическое явление». Да, да, запомним, Дмитрий Сергеевич, мы с Зубцовым вообще не существуем, нас придумали, нас дергают за ниточки, нас нет.

Наверно, Лена теперь спрашивает себя: что же представляет собой Коротеев? Бюрократ? Жалкий лгунишка? Ведь кто-кто, а она догадывается. Женщины разбираются в этом куда лучше. Я Наташе не решался сказать чуть ли не до конца, а она мне потом рассказывала: «Я еще на Соже заметила. Помнишь, бомбили, а ты обязательно хотел побриться»... Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо... Конечно, Лена теперь надо мной издевается.

Впрочем, зачем я об этом думаю? Лена — жена Журавлева, у нас с нею разные дороги. С дурью можно справиться. Дело в другом. Почему я, действительно, сказал: «Такого не бывает»? Не знаю. Во всяком случае, я не хотел обманывать. Мои чувства ни-

кого не касаются, это — частное дело инженера Коротеева. А книга — общественное явление. Зачем писать о таких вещах? Это никому не может помочь. Из неудач Зубцова с лесонасаждениями читатель сделает выводы. А чувства к чужой жене — нелепый пережиток. Любовь — цемент, все это говорят, а такая любовь разъедает. Получается, что я выступил правильно. Вообще не следовало выступать. Но дело не в этом: необходимо справиться с собой.

Возле яркого круглого фонаря снег походил на стаю птиц, испуганных или возбужденных, взлетал, падал, снова взлетал. Под фонарем, обнявшись, стояли влюбленные. Уж не Катя ли? — подумал Коротеев. Девушка вскрикнула, и парочка быстро зашагала вперед. Коротеев улыбнулся. Может быть, Катя. Или другая. Так и мы с Наташей ходили по парку возле Берлина; там было серое озеро, кувшинки, и вдруг на нас налетел майор... Все это хорошо в молодости. Нужно выбросить дурь из головы. Раз и навсегда.

На улице было пусто; давно все разошлись по домам — и те, кто судил агронома Зубцова, и те, кто глядел в театре «Даму-невидимку», и те, кто слушал лекцию о поднятии животноводства, и те, кто ходил в гости к друзьям. Новые дома, днем унылые, сейчас казались театральной декорацией: золотые окна боролись со снегом.

В домах живут люди, спорят, спят, мучаются, радуются. Разное в жизни бывает... Но все это — второй план, главное — работа.

Он знал, что только работа его спасет, и, чиркая спичками на темной лестнице, радостно думал: сейчас сяду за проект Брайнина. Он разложил на столе чертежи, смету. До чего сильно топят — дышать нечем! Он открыл форточку, и в комнату ворвались снежинки. Вероятно, у меня грипп. А может быть, и это дурь. Нужно работать.

Обычно, работая, он сидел неподвижно, мог так просидеть половину ночи. Теперь он то и дело откидывался на спинку стула, переставлял лампу или пепельницу, шагал по комнате. Большая и как будто чужая тень встревоженно металась по белой стене.

Брайнин прав, многое зависит от сварки, в итоге — перекосы. Завтра поговорю с Журавлевым. Сейчас они пьют чай, и Лена ему говорит: «Коротеев выступал, как чинуша». Она смеется, а Журавлев берет меня под защиту: «Романы не его дело, зато он неплохо работает, это — главное». Правильно, Иван Васильевич, главное! Когда Лена смеется, глаза у нее темнеют; иногда смеется, а глаза печальные. Вздор! Нужно сказать Журавлеву про редуكتورы..

В пять часов утра он с удовлетворением сказал себе: можно с поправками рекомендовать проект Брайнина.. Спать не стоит — скоро на завод. Но не спать трудно: снова полезет в голову дурь. Может быть, изложить в виде записки все поправки к проекту Брайнина? Легче будет убедить Журавлева. Да и час уйдет..

Все метет и метет. Но темные улицы оживились: люди торопятся на работу. Тот же яркий фонарь, те же белые птицы, только влюбленных нет.

— Фильм какой замечательный! Я всю ночь не спала..

— Да ты скажи Егорову, он тебя отпустит, а бюллетениться глупо..

— Навагу выбросили, народу — не пробиться..

А Коротеев думает: до чего крепкая дурь! Не проходит. Может быть, вообще не пройдет, не знаю. Я об этом читал, оказывается, нужно пережить. Неожиданно он улыбается: это очень глупо, но кажется, я счастлив..

2

Вернувшись с читательской конференции, Лена накрыла на стол, принесла из кухни чайник, холодные котлеты, что-то при этом говорила. Журавлев, однако, заметил, что она сама не своя. Спроси он, что с нею, она, наверно, растерялась бы, но он ей подсказал: «Опять двоек понаставила и расстраиваешься?» Она с облегчением ответила: «Да».

Иван Васильевич взял газету (утром он не успел прочитать); он ел и читал, иногда взглядывая на жену, говорил: «Никифорова здорово отхлестали», «Что ком-

прессоров не хватает, это бесспорно». Лена поспешно соглашалась.

Хорошо, что он читает: она может подумать. Ведь только сейчас она поняла, что случилось непоправимое. Ужасно переживать такое одной!..

В студенческие годы у Лены было много подруг, а на заводе она порой тосковала: не с кем поговорить. Ее тянуло теперь к людям, обладавшим жизненным опытом, и она сама над собой подтрунивала: учительница, а все еще хочу быть ученицей. До прошлого года в школе работал один из самых примечательных людей города — Андрей Иванович Пухов. К нему все относились с почтением: старый большевик, участник гражданской войны, талантливый педагог. А Лена считала его своим спасителем. Ведь она вначале растерялась, дети шалили во время урока, не слушали ее, она по ночам плакала. Андрей Иванович помог ей войти в работу, раскрыл самое главное: ученик это как взрослый, один не похож на другого, нужно понять, заслужить доверие. Он разговаривал с ней, как с родной дочерью. Она дня не могла прожить, не услышав несколько слов от Андрея Ивановича. Но прошлой зимой Пухов тяжело заболел, врачи определили — грудная жаба, запретили работать. Правда, теперь Андрей Иванович лучше себя чувствует, иногда он заходит в школу — тянет его туда, но Лена не решается его беспокоить своими сомнениями, бранит себя: пора жить своим умом, ей ведь скоро тридцать. Не девочка... А все-таки трудно, когда не с кем посоветоваться.

Иногда Лена забегает к врачу Вере Григорьевне Шерер. Познакомились они год назад. Лена не забудет того вечера: тогда она впервые поняла, что муж для нее чужой. Это было так страшно, что она всю ночь проплакала. Вера Григорьевна нравится Лене, но встречаются они редко — Шерер всегда занята. Потом она какая-то замкнутая. Может быть, потому, что одинокая? Она сказала Лене: «Второй раз ничего не получается»; — она на войне потеряла мужа. Лене неловко надоедать Вере Григорьевне: у нее свое горе.

С Коротеевым Лена как-то сразу подружилась. Он много рассказывал про войну, про Германию, про товарищей, люди в его рассказах оживали, и Лене казалось, что она их хорошо знает. Они спорили о книгах: Лена говорила, что почему-то не верит в счастье Воропаева, а Коротеев доказывал, что это — правда. Ему нравился Листопад, а ей он казался бездушным. Про роман Гроссмана Коротеев сказал: «Войну он показал честно, так действительно было. Но герои у него слишком много рассуждают, больше, чем на самом деле, от этого им иногда не веришь». Лена возразила: «А разве вы мало рассуждаете?» Он сконфузился, проворчал: «Нельзя переносить на собеседника... А я вам, видно, надоел разговорами...»

Никогда он не рассказывал Лене ни про Наташу, ни про свою раннюю молодость, но она чувствовала, что не такой он «счастливчик», как это казалось Ивану Васильевичу. Она ценила в Коротееве и душевную силу, и скрытое, глубоко душевное волнение: живой человек. Когда было заключено перемирие в Корее, он сделал доклад; Лена слушала с интересом, он хорошо показал крах американской стратегии, сделал выводы: другой конец, чем был в Испании, агрессорам придется призадуматься, да и повсюду сторонники мира подымут голову. Они вышли из клуба вместе, и Коротеев сказал ей: «У нас в институте училась девушка из Кореи. Крохотная, как ребенок... Я эти дни все о ней думаю. Она удивительно хорошо улыбалась. Замечательно, что теперь она может снова улыбнуться, — ведь они столько пережили!..» Лена подумала, что может быть, только она знает всего Коротеева — и того, кто выступал с докладом, и того, кто рассказывал о маленькой кореянке.

Иногда она его не понимала. Она как-то рассказала ему, что с десятиклассницей Варей Поповой чуть было не стряслась беда: «Взяли и исключили из комсомола. Не разобрались, не выслушали. Правда, в итоге вмешался горком. Варю теперь восстановили. Но вы представляете себе, что значит пережить такое в семнадцать лет! Это ведь драма... Виноват, конечно, Фомин, а ему даже выговора не дали. Разве это допустимо?..»

Она ждала, что Коротеев ее поддержит, но он молчал: думал о чем-то своем. Будь на его месте муж, она подумала бы: трусит. Но Коротеева она уважала и решила: наверно, я еще многого в жизни не понимаю.

Не замечая того, она к нему привязалась. Когда он не приходил, она огорчалась, спрашивала мужа: «Не заболел ли Дмитрий Сергеевич?» Это было летом, все тогда ей казалось простым, понятным, хорошим. Потом Коротеев уехал в отпуск на Кавказ. Вернулся он мрачным; Лена даже подумала: может быть, встретил девушку, не поладили... Он начал избегать общества Лены. Два раза она его останавливала на улице; он говорил, что много работы, но скоро зайдет, обязательно, обязательно.. Лена терялась в догадках и вдруг поймала себя на мысли: а я ведь слишком много думаю о нем. Уж не влюбилась ли?.. Тотчас она себя урезонила: в моем возрасте таких глупостей не делают. Просто здесь мало интересных людей, и потом, мы ведь дружили...

На читательскую конференцию она пошла неохотно: скучно, будут читать по бумажке, цитировать газетные статьи, пересказывать содержание книги. Журавлев настаивал: секретарь горкома сказал, что придет, вообще все будет: «Что за глупые демонстрации? И потом тебе будет интересно — Мария Ильинишна говорила, что выступит Коротеев». Лена рассердилась: «Вот уж это мне все равно...» Иван Васильевич усмехнулся: верь женщинам, считала Коротеева чуть ли не гением, а теперь даже неинтересно, что он скажет...

Лена не думала, что этот вечер сыграет такую роль в ее жизни.

Когда Коротеев выступал, ей хотелось уйти или закрыть руками лицо. Ведь он говорит это ей: решил объяснить, почему не приходит. Теперь ясно: он считает меня ветреной, взбалмошной, как героиню того романа. Решил, что я в него влюбилась, и чигает нотации. Он человек порядочный, голова у него занята другим, да и вообще я должна понять, что такого не бывает. Словом, урок мне. Но почему он вздумал объясниться при всех? Мог бы прийти и сказать. Очевидно, решил, так будет обиднее, боится, что я его

не оставлю в покое. Может не бояться: больше он меня не увидит.

Так она возмущалась Коротеевым, когда шла с мужем сквозь метель домой. (Журавлев хотел вызвать машину, но она запротестовала, думала, что в пути немного успокоится.) Но, войдя в дом, она вдруг почувствовала, что не за что обижаться на Коротеева, беда в ней самой. Впервые она осознала, что любит Дмитрия Сергеевича, что все последнее время терзалась оттого, что он не приходил, что не будет у нее ни счастья, ни душевного покоя. Она быстро прошла на кухню. Чайник долго не закипал, и она могла погоревать, не чувствуя на себе недоумевающих глаз Ивана Васильевича. Теперь она уже не сердилась на Коротеева, говорила себе: он прав. Не все ли равно, какую форму он выбрал, он должен был честно меня предостеречь. Он видел то, чего я сама не понимала, и отрезал начисто. Нужно жить. Но как?..

Она сидела в столовой, пока Иван Васильевич ужинал, делала вид, что пьет чай. Хорошо, что в газете длинная статья... Удивленно она подумала: это — мой муж...

С Журавлевым Лена познакомилась на вечере самодеятельности. Она тогда кончала педагогический институт. Журавлева прислали в город незадолго до этого; он говорил, что чувствует себя хорошо только среди молодежи, и часто бывал в институте. Лена участвовала в спектакле, роль ей дали маленькую, играла она слабо, но когда начали танцевать, Журавлев пригласил ее. Они весь вечер провели вместе, и он проводил ее до общежития.

Иван Васильевич очень изменился за шесть лет; дело не в том, что он потолстел, обрюзг, обвисли щеки, обозначилась лысина (о нем говорят «пожилой человек», а ему всего тридцать семь лет), но изменились и глаза — они глядели мечтательно, а теперь у него взгляд спокойный, уверенный, голос стал повелительным, да и смеется так, что другим не смешно. Все в нем теперь другое.

А может быть, так только кажется Лене? Когда они познакомились, он прельстил ее жизнерадост-

ностью, оптимизмом, никогда не унывал, в самые трудные минуты говорил, что можно найти выход. Он и теперь так рассуждает, но теперь это сердит Лену. Приходит главный инженер Егоров, на нем лица нет, с трудом выговаривает, что у его жены нашли рак. Лена сдерживается, чтобы не заплакать. А Журавлев говорит: «Не огорчайтесь Поправится. Медицина теперь чудеса творит». И минуту спустя спрашивает Егорова: «Скажите, Павел Константинович, как со станками для Сталинграда? В третий раз запрашивают...» Летом секретарь горкома при Лене сказал Журавлеву, что нельзя оставлять рабочих в ветхих лачугах и в бараках, фонды на жилстроительство выделены еще в прошлом году. Иван Васильевич спокойно ему ответил: «Без цеха для точного литья мы бы оскандалились, это бесспорно. Вы ведь первый нас поздравили, когда мы выполнили на сто шестнадцать процентов. А с домами вы напрасно беспокоитесь — они еще нас переживут. В Москве я видел домишки похуже». Не хочет себя расстраивать, думала Лена, на все у него один ответ: «Обойдется». Эгоист, самый настоящий эгоист!

В молодом Журавлеве подкупало легкое, незлобивое веселье, а оно с годами ушло. Были у него неприятности по работе, три года назад все говорили, что его снимут, он дважды ездил в Москву, обошлось. Может быть, он от этого стал реже улыбаться? Может быть, его угнетает ответственность за судьбу завода? А может быть, просто отяжелел? Впрочем, он и теперь оживляется, когда рассказывает об агрегатных станках, о том, что в Москве его чудесно приняли, что Никифорову, который пробовал его угробить, намылили голову. Для Лены это самодовольство и только. Но Иван Васильевич любит завод, гордится им. Минутами ему кажется, что завод и он — это одно; если ему горячо жмут руку, значит приветствуют весь коллектив, а если завод не выполнит плана, это будет личным несчастьем его, Журавлева.

Чем он увлекается помимо работы? Есть у него свои страсти. Он молодеет на двадцать лет, когда в воскресенье отправляется на рыбную ловлю или обсуж-

дает с Хитровым, на какую насадку лучше клюет рыба. Это раздражает Лену: мог бы взять книгу, пойти в театр, а для него высшее наслаждение — часами глядеть на поплавок.

Не понимает Лена и симпатии мужа к Хитрову. Это исправный работник, хороший семьянин; он толст, розов и похож на взрослого младенца; у него приятный басок, и, обхохатываясь, он рассказывает в сотый раз известные всем анекдоты. Хитров свято верит в ум и в звезду Ивана Васильевича. Они вместе ловят рыбу, иногда ездят на охоту, иногда играют в шашки или мирно выпивают пол-литра. Журавлев говорит о Хитрове: «Закваска у него правильная...» Соколовский как-то язвительно заметил: «Хитров прежде удочки в руки не брал, а теперь уверяет, что с детства страстный рыболов; больше того, он вчера изрек: «Щуку поймать труднее, чем пескаря, это бесспорно». Лене Хитров противен, она его считает подхалимом и однажды, рассердившись, спросила мужа: «Ну, как ты можешь с ним часами разговаривать? Он ведь повторяет все, что ты говоришь». Иван Васильевич пожал плечами: «Хитров вовсе не дурак, у него всегда оригинальные предложения. Судишь с кондачка, а сама ничего не знаешь».

Он любит ее, любит дочку — это Лена знает. Но не о таком чувстве она мечтала, когда решила стать его женой. Он ее считает экзальтированной, иногда усмехается: «Говорят, раньше извозчики рубль запрашивали, а везли за десять копеек. Так и ты — хочешь жить с запросом. А жить проще. Да и труднее...»

В первые годы совместной жизни Лена пыталась заговаривать с мужем о любви, о назначении жизни, о том, в чем счастье. Он ласково улыбался, но всегда обрывал разговор, говорил, что ему нужно работать. Он считает, что Лена — хорошая жена, он с нею счастлив. Правда, имеется у нее слабость: ей хочется, чтобы он все время говорил о своих чувствах, но ведь у женщин бывают куда большие недостатки.

Когда Лена подружилась с Коротеевым, Иван Васильевич радовался за нее. Никакой ревности он не испытывал: Лена — серьезная женщина. Но ей хочет-

ся иногда поболтать, да и пококетничать, это естественно. А у меня нет времени. И не умею я ее развлечь. Коротеев — толковый инженер, но он любит пощеголять своими знаниями, ему лестно, что Лена слушает его, раскрыв рот...

В последнее время, когда Коротеев перестал заходить, Иван Васильевич удивлялся: неужели он ей надоел? Такой умница... Беда в том, что она меня слишком любит, это бесспорно.

Лена, когда они только поженились, поставила условие: она будет учительствовать; не затем она кончила институт, чтобы превратиться в домохозяйку. Работой своей она увлекалась, пробовала заинтересовать ею мужа — показывала школьные тетрадки, восторгалась талантом старика Пухова, жаловалась на завуча. Иван Васильевич ей как-то сказал: «Ты думаешь, у меня мало своих неприятностей? Конечно, учить ребят не так-то просто. Но и завод не мелочь».

Хорошо он работал или плохо? Мнения делились. Одни говорили, что он формалист и перестраховщик, если завод выдвинулся, то благодаря Егорову, Коротееву, Соколовскому, Брайнину, а Журавлев им только мешает. Другие утверждали, что Иван Васильевич хороший администратор и честный человек — это самое важное. Никто, однако, не вносил страсти ни в нападки, ни в защиту: Журавлев не порождал в людях сильных чувств.

Лена считала его самоуверенным, а между тем он часто не доверял себе, но сомнениями своими не делился ни с главным инженером, ни с Коротеевым: считал, что ответственность лежит на нем. Когда Коротеев однажды сказал, что отчет составлен в чересчур радужных тонах, Журавлев пожал плечами: Коротеев разбирается в машинах, но не в тайне управления заводом. Иван Васильевич знает, что если написать в Москву о непорядках, там только поморщатся, скажут: «Журавлев паникует». Люди любят узнавать приятные новости, а когда им подносят вместо меда перец, они сердятся. Он иногда говорит жене: «Нужно уметь и промолчать». Лена видит в этом трусость. А ведь Журавлев три года провоявал, был у Ржева в самое труд-

ное время, и боевые товарищи помнят его как человека смелого. Вспоминая годы войны, он однажды сказал Лене: «Могли убить, это бесспорно. Но умереть — не штука. А вот поставят тебя и скажут: «Отчитывайся», — это другая музыка...»

Что бы ни говорили противники Журавлева, завод был на хорошем счету: за шесть лет ни одного прорыва. Правда, замминистра сказал Ивану Васильевичу, что фондами на жилстроительство он распорядился незаконно, но Журавлев решил: это для проформы... Министерство, как и я, заинтересовано прежде всего в продукции. Разумеется, он поспешил успокоить замминистра: все рабочие обеспечены жилплощадью, катастрофического ничего нет, а подготовка к строительству трех корпусов уже начата. Действительно, в конце года были утверждены и проекты, и смета, но с домами Журавлев не торопился. Председатель завкома после пленума Цека ему осторожно сказал: «Иван Васильевич, вы читали, что пишут?.. Давно бы нужно обеспечить людей жилплощадью...» Журавлев ответил: «Обеспечим», — но над словами Сибирцева не задумался: Иван Васильевич, будучи человеком неглупым, гибкостью ума не отличался.

Осенью в «Известиях» была напечатана статья о заводе. Журавлев строго сказал корреспонденту: «Про меня нечего писать. Цифры я вам дал, напирайте на продукцию. Можете похвалить Коротеева — он заслужил. А главное — поговорите с рабочими. Вот вам список...» Корреспондент все же расхвалил Журавлева, написал, что он отнесется к тем работникам советской промышленности, которые сочетают дерзновение с трезвым расчетом и большим опытом. Председатель горисполкома по телефону поздравил Ивана Васильевича. Шестого ноября, на торжественном заседании, Журавлев сидел в президиуме рядом с командующим военным округом. В городе говорили: «Журавлев пошел в гору».

Не удивительно, что художник Владимир Андреевич Пухов, сын старого учителя, год назад вернувшийся в город из Москвы, пишет теперь портрет Журавлева. Владимир Андреевич любит говорить: «Из лотерей

я признаю только беспроектную». Если он задумал написать портрет Журавлева для ежегодной выставки, то только потому, что модель должна обеспечить успех его работе. В газетной статье Пухову посвятят целый абзац, а портрет купит музей. Иван Васильевич изображен при всех орденах, он сидит за огромным столом, на котором красуется модель станка. Увидев на мольберте незаконченный портрет, Лена поморщилась: хотел польстить, и не вышло — смахивает на индюка...

Лене казалось, что она видит своего мужа насквозь, но о многом она не догадывалась. Иван Васильевич, например, искренне огорчился, видя, как мучительно умирает жена Егорова, и все же чуть ли не до последнего дня он благодушно приговаривал: «Ничего, выздоровеет»... Он мрачнел, заглядывая в сырые, темные домишки, где ютились рабочие, вспоминал свое детство (он был родом из бедного села Калужской области). Обидно, что люди плохо живут. Тотчас он успокаивал себя: эти дома еще продержатся, а без цеха точного литья мы бы сели в лужу, это бесспорно. Да и не так уж им плохо в этих домах. Разве можно сравнить с тем, как жили их отцы? В будущем году построим три корпуса. Он считал: если говорить, что все хорошо, то и на самом деле все станет лучше. Главное — не распускаться. Егорову самому хотелось, чтобы я его приободрил. Секрет именно в этом: поменьше смотреть на теневые стороны, тогда и сторон будет поменьше, это бесспорно.

Однажды в сборочном цеху начался пожар. Иван Васильевич показал себя с лучшей стороны: не растерялся, действовал умело, так что с огнем быстро справились; нужно было наверстать потерянное время, он вместе с группой рабочих всю ночь трудился в цеху, приободрял людей. Вскоре после этого события, взволновавшего завод, Коротеев сказал Соколовскому: «Скажите, вас не удивил Журавлев? Ведь он человек, лишенный всякой инициативы, а вот здесь не растерялся...» Соколовский всегда насмеялся над Журавлевым, но теперь, подумав, ответил: «Это вы правы. Садоводы говорят о спящей почке, — есть такие почки

на деревьях. Иногда много лет не раскрываются. А если отрезать крону, спящая почка распустится. Так и Журавлев — заурядный чиновник, но стоит разразиться грозе, он оживает...»

В отношениях между Журавлевым и Леной решающим событием была не встреча ее с Коротеевым, а разговор, возникший год назад, разговор, которому Иван Васильевич не придал никакого значения. Заболела Шурочка. Лена хотела привезти из города детского врача Филимонова, оказалось, что он болен. Лена очень волновалась: почему-то ей казалось, что у девочки воспаление легких. Она позвонила мужу на работу. Журавлев посоветовал: «Пошли в нашу больницу за Шерер». Вера Григорьевна, осмотрев девочку, сказала: «Обыкновенный грипп, в легких ничего нет». Лена обрадовалась, но была в таком смятении, что высказала свои мысли вслух: «А вы не ошибаетесь? Она как-то странно дышит». Вера Григорьевна неожиданно вскипела: «Если вы мне не доверяете, зачем вы меня позвали?» Лена покраснела: «Простите, я не понимаю, что говорю. Правда, я не хотела вас обидеть. Это ужасно...» Тогда на глазах Веры Григорьевны показались слезы, она очень тихо сказала. «Вы меня простите, виновата я. Нервы не выдержали. Иногда теперь такое приходится выслушивать... после сообщения... Плохо, когда врач себя ведет, как я...» Лена еще гуще покраснела. Она проводила Веру Григорьевну до дому. С того вечера они подружились.

С того же вечера в Лене родилось презрение к мужу. Он пришел домой поздно, усталый, голодный, спросил, как Шурочка; Лена начала рассказывать про Веру Григорьевну. Он молчал. Лена настаивала: «Нет, ты скажи, разве это не возмутительно? При чем тут она?» Иван Васильевич примирительно сказал: «Чего ты расстраиваешься? Я ведь тебе сам сказал, чтобы ты позвала Шерер. Ничего я против нее не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять нельзя, это бесспорно».

Лена молча вышла из комнаты. Все, что в ней постепенно накапливалось, вылилось сразу. Плача, она повторяла: «И он — мой муж!...»

Много месяцев спустя, после пожара на заводе, когда Коротеев с похвалой отозвался о поведении Журавлева, Лена едва сдержалась, чтобы не крикнуть: «Вы его не знаете, это трус и бездушный человек».

Когда в газетах появилось сообщение о реабилитации группы врачей, Лена побежала в больницу, вызвала Веру Григорьевну, хотела что-то сказать и не смогла, только обняла ее.

В тот же вечер Иван Васильевич, зевая, сказал Лене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Лена промолчала.

Почему она не ушла от мужа? Она его не жалела, хотя знала, что он к ней привязан. Житейские трудности ее не пугали: у нее есть работа, она сможет всегда прокормить и себя и Шурочку. Все дело в Шурочке. Она любит отца. Он с нею меняется, становится похожим на прежнего, молодого, играет, смеется. Можно ли отнять у девочки отца? Шурочка ни в чем не виновата. Виновата я: выбрала такого. Значит, и расплачиваться должна я.

Лена начала убеждать себя, что можно прожить и без любви. У нее интересная работа, товарищи, Шурочка. Для драм сейчас не время. Конечно, Журавлев — трус и эгоист, но он не вор, не предатель. А у Шурочки будет отец...

Знакомство с Коротеевым отвлекло ее от горьких мыслей. Потом Коротеев исчез; она волновалась, терялась в догадках, почему он не приходит, и мало думала о муже. Внешне все шло попрежнему: она ему наливала чай, спрашивала, какие новости на заводе. Она была убеждена, что живет только для Шурочки и для школы.

И вот сейчас, вернувшись из клуба, она поняла, что Коротеев овладел ее сердцем. Это было для нее столь неожиданным, что она чувствовала себя раздавленной; она еле сидела, ожидая, когда Журавлев допьет последний стакан чая.

Отложив газету, он вдруг сказал:

— Почему тебе не понравилось выступление Коротеева? По-моему, он умно говорил. Я, правда, книжки не читал, но насчет советской семьи это бесспорно.

Лена необычайно спокойно ответила:

— Я плохо слушала... Я тебе говорила, что не хочу идти... Меня тревожит седьмой класс — самый трудный и много отстающих. Ты не хочешь больше чая? Я пойду посмотрю Шурочку...

Девочка спала; во сне ей, видно, было жарко, и она сбросила наполовину одеяло. Лена ее покрыла и заплакала: может быть, и тебе придется это пережить... Мужчинам легче... Конечно, у меня своя жизнь, школа, ребята. Но если бы ты знала, какая это мука! Просто трудно дожить до завтра... Шурочка, что же нам делать? Не знаю, вот просто не знаю...

3

Вечер читательской конференции остался памятным и в семье бывшего учителя Андрея Ивановича Пухова, хотя ни он, ни его домочадцы не были в клубе. Соня собиралась было пойти, но читательская конференция совпала с днем рождения отца — ему исполнилось шестьдесят четыре года. Надежда Егоровна решила обязательно отпраздновать это событие, и три дня подряд Андрей Иванович слышал ее сетования: муку едва раздобыла; весь город обошла, а не достала ни индейки, ни гуся; яиц, как назло, нет... Андрей Иванович посмеивался: Надя всегда так — говорит, что ничего нет, а потом гости встать не могут.

Надежда Егоровна сперва думала позвать свою двоюродную сестру с мужем-пенсионером, бывшего директора школы, сверстника Андрея Ивановича, и Брайнина, но Пухов запротестовал: «Детям скучно будет. Позови лучше товарищей Сони и Володи. Пускай молодежь повеселится. Да и мы с тобой у чужого огня погреемся...»

Андрей Иванович был человеком общительным, охотно встречался и с Брайниным и с бывшим директором школы, часами выслушивал, как двоюродная сестра Надежды Егоровны рассказывала о ревматизме, о грязевых ваннах, о лечении укусами пчел. Каждый вечер он заходил к недавно овдовевшему Егоров-

ву, который жил неподалеку, говорил с ним о станках, о последней речи Эйзенхауэра, о дочке инженера, ученице музыкальной школы, старался отвлечь его от горьких мыслей. Но лучше всего Пухов себя чувствовал с молодыми — может быть, потому, что сохранил в душе юношеский пыл, может быть, потому, что свыше тридцати лет проучительствовал и привык к подросткам. Он понимал и страх перед экзаменами, и драмы первой любви, и наивные мечты о славе.

Только в своей семье Андрей Иванович порой испытывал одиночество.

С женой он прожил дружно больше тридцати лет. Надежда Егоровна в молодости тоже была учительницей — преподавала в школе для взрослых. Первенец Володя родился в голодный двадцатый год. Когда Надежда Егоровна понесла его в штаб, чтобы показать отцу, часовой сказал: «Девочка, да ты его уронишь», — маленькая, худая, с коротко постриженными волосами, она казалась ребенком. Год спустя у нее родилась дочка и, не прожив месяца, умерла. Надежда Егоровна тяжело заболела, ее дважды оперировали. Пухов вернулся к педагогической работе, а Надежда Егоровна стала заботливой женой и матерью. Соня родилась, когда ее мать успела позабыть и дневник, и книги, потолстела, размякла. Свою молодость она вспоминала редко и с удивлением: ей казалось, что не она, а другая женщина выступала на солдатских митингах, беременная Володей, верхом скакала по степи, помогала мужу печатать листовки. Давно это было, очень давно! Ее мир сузился, стал плотным.

Когда Пухов прошлой осенью заболел, Надежда Егоровна поняла, что должна спасти мужа. Она жаловалась всем, что Андрей Иванович не выполняет предписаний врачей, ведет себя как ребенок, не понимает опасности. Андрей Иванович, однако, знал, что ему осталось жить недолго; именно поэтому он не хотел перейти на положение инвалида: стоит сдаться, как мотор откажет.

Впервые за долгие годы совместной жизни Надежда Егоровна вышла из себя, когда муж объявил ей, что поправился и через неделю выйдет на работу. На-

дежда Егоровна кричала, плакала, бегала к врачам. Шерер ей сказала: «Конечно, он должен лежать, я ему это объяснила. Но иногда человек лучше понимает, что ему нужно, чем все медики. Он мне ответил, что без работы не сможет жить. Не настаивайте: Андрей Иванович необыкновенный человек...» Надежда Егоровна не успокоилась, ходила к директору школы, в гороно, к секретарю горкома. Пухов на работу не вернулся.

Андрей Иванович, однако, не сидел без дела. Он занялся своими бывшими учениками, отцы которых погибли на войне и которые росли в трудных условиях,— у одного мать спекулянтка, посылает мальчика на рынок, другой должен ухаживать за больной сестренкой, третий без присмотра и у него дурные товарищи. Андрей Иванович помогал, чем мог, матерям, готовил с мальчиками уроки, рассказывал им о далеком прошлом — как началась революция, как он увидел на улице Ленина, как остановили белых.

Надежда Егоровна видела, что силы мужа тают, и каждый день Пухов слышал жалобы, сопровождаемые слезами: «Андрюша, ты хоть день полежи...» Он должен был все время помнить, что за ним следят любящие глаза, жестокие в своей заботливости, сдерживался, чтобы не застонать во время припадка, заставлял себя улыбнуться, пошутить.

С детства любимцем Надежды Егоровны был Володя, красивый мальчик с умными, насмешливыми глазами. Мать говорила соседкам: «Вы не смотрите, что тихий, я за него все время боюсь». Он не шалил, не дрался с мальчиками, но, сохраняя кроткий голос и почтительную улыбку, дерзил отцу, которого называл «старогвардейцем», дразнил товарищей, сочинял обидные стишки о знакомых девочках, рисовал карикатуры на учителей. К рисованию он пристрастился с ранних лет, и мать, замирая от счастья, думала: может, у него, правда, талант?..

Он учился живописи в Москве и, приезжая на каникулы, с усмешкой рассказывал матери о своих профессорах, о театральных премьерях, о девушках в кафе «Красный мак» — рассказывал так, будто он жи-

лой человек, пресыщенный жизнью. Надежда Егоровна в ужасе говорила мужу: «Наверно, он попал в дурную компанию. Поговори с ним...» Андрей Иванович в ответ вздыхал — давно он все испробовал: убеждал, просил, сердился. Судьба над ним посмеялась: все говорили: «Пухов способен перевоспитать преступников!», а он ничего не мог поделать со своим сыном. Володя всегда соглашался с отцом, насмешливо щуря при этом глаза, и Пухов знал, что мальчишка над ним смеется.

Кончив институт, Володя написал большой холст «Пир в колхозе». Картину расхвалили. Володя получил в Москве мастерскую, он послал матери деньги и написал, что собирается жениться. Девушка, однако, предпочла кинорежиссера. Володя обиделся. Обиделся он и на жюри, забраковавшее его новую работу «Митинг в цеху». Он разнервничался и на собрании художников неожиданно для всех, да и для самого себя, обрушился на маститых мастеров, дважды и трижды лауреатов. Тогда-то выяснилось, что мастерскую ему дали по ошибке и что она нужна для одного из новых лауреатов. Он должен был написать портрет знатного сталевара, но заказ почему-то отменили. Володя понял, что наделал глупостей. Он начал повсюду восхвалять художников, которых обидел, ругал свои работы, называл себя «недоучкой» и «плохим товарищем», а потом кротко объявил, что уезжает на периферию: «Хочу изучить будни завода...»

Так после долгой отлучки он снова оказался в родительском доме. О своих неудачах он не рассказывал; напротив, обрадовал мать: он получил длительную творческую командировку, вынашивает большую картину, есть у него ударная тема...

Полгода спустя редактор областной газеты, стоя перед картиной Владимира Пухова, изображавшей двух рабочих, читающих газету, восхищался: «Большущий художник! Вы посмотрите на выражение глаз того, молодого. Нужно дать о нем подвал...» Говорили, что Пухов выдвинут на Сталинскую премию. Надежда Егоровна поздравила его с успехом. Он пожал плечами: «Тебе нравится? По-моему, дрянь. Впрочем, в Мос-

кве пишут не лучше. Вообще я предпочитаю об этом не думать...»

Надежда Егоровна поделилась своими мыслями с мужем: «Наверно, девушка, на которой Володя собирался жениться, страшная кривляка. Ты ведь знаешь, как легко он поддается влияниям... А тебе нравится его картина?» Пухов нехотя ответил: «Мне его мысли не нравятся. Вчера он говорил с Соней о какой-то книжке. Соня сказала, что должна быть идея. А он ей ответил: «За идеи не платят, с идеями можно только свернуть себе шею. В книге полагается идеология. Есть — и хорошо. А идеи у сумасшедших». И неправда, что на него кто-нибудь может повлиять, он сам способен любого испортить. И мальчиком он так рассуждал. Цинизм ужасный, вот что...» У Андрея Ивановича задрожал голос, и Надежда Егоровна перепугалась: «Тебе нельзя волноваться...»

Надежда Егоровна еще раз подумала, что муж несправедлив к Володе. Вот Соню он всегда оправдывает... Она не догадывалась, что Пухов, действительно обожавший свою дочь, в последнее время страдал, видя, что между ними исчезла прежняя близость. Он упрекал себя: постарел, не могу понять молодых, хочу, чтобы Соня думала, как я, когда был студентом. Видно, это постоянная болезнь: отцы не могут понять детей. Я вправе осуждать Володю. Наверно, и многие молодые его считают карьеристом. Но Соню мне не в чем упрекнуть. Если мы иногда друг друга не понимаем, то это оттого, что я говорю на языке прошлого. Странно только, почему я не чувствую такой стены с моими учениками, или с Савченко, или с Леной Журавлевой. Должно быть, чем больше любишь человека, тем труднее его понять...

Соня была замкнутой, внешне она редко загоралась и никому не доверяла своих душевных тайн. Конечно, родители давно заметили, что она равнодушна к молодому инженеру Савченко, который часто к ней приходил; но когда Надежда Егоровна попробовала заговорить о нем, Соня спокойно ответила: «Симпатичный человек, только напрасно ты думаешь... Просто знакомый». Несколько раз Надежда Егоровна при-

глашала Савченко пообедать: в день рождения Сони, после возвращения сына. Соня держалась с ним как со всеми. Оставаясь с Савченко вдвоем, Соня менялась, ее лицо становилось мягким, глаза тускнели. Осенью они как-то пошли в лес: Соне захотелось наломать веток с золотыми листьями. Все кругом было яркое и печальное. Они шли молча. Вдруг Савченко ее обнял; на минуту она потеряла голову, сама стала его целовать, но тотчас опомнилась и побежала к дороге. Вечером она ему сказала: «Нужно подождать... В феврале выяснится, куда меня направят. А то ты здесь, я там. Или еще лучше: скажешь, чтобы я стала мужниной женой... Потом это вообще невозможно: ты здесь меньше года, Журавлев никогда не даст тебе квартиры...» Савченко ушел расстроенный: почему она такая рассудительная?.. Он не узнал, что Соня после его ухода легла лицом к стене и заплакала. Может быть, я глупо говорила? Наверно, глупо. Но ведь нужно думать о будущем. Обыкновенно рассуждает мужчина. А Савченко мальчик, вот мне и приходится говорить такие вещи. Неужели он не понимает, что мне самой это противно! Он вообще ничего не понимает, но я не могу без него...

Была ли она вправду чрезмерно рассудительной, как это казалось и Савченко и Андрею Ивановичу? Или только хотела показаться такой, считая, что иначе нельзя, что все остальное это «идеализм», «донкихотство», «глупости»? Отец не мог понять, почему, увлекаясь литературой, она пошла в технический институт. Она объясняла: «Это нужнее. Легче будет найти интересную работу». В институте она пристрастилась к электротехнике, но продолжала говорить: «Это то, что теперь требуется». Она любила стихи, особенно Лермонтова и Блока, а отцу сказала: «Если уж признавать поэзию, то только Маяковского...» Мать она жалела и старалась помочь ей в хозяйстве, причем все делала спокойно, толково; умела в магазине пробиться к прилавку, расшевелить управдома. Когда Надежда Егоровна жаловалась, что отец не бережет себя, Соня отвечала: «Ему нужно что-то делать, это его поддерживает». Слушая рассказы Андрея Ивановича о том,

что у Миши теперь одни пятерки или что Сеня увлекся химией, Соня думала: а я ведь по сравнению с ним старуха...

Когда она поздравила отца с днем рождения, он усмехнулся: «Радоваться-то нечему: лет много, а сделал мало». Соня рассмеялась: «Мне ты кажешься молодым...»

К обеду пришли гости — знакомые Володи: художник Сабуров с женой и актриса местного театра Орлова, которую все звали Танечкой. Надежда Егоровна позвала, конечно, и Савченко, но он должен был выступить на читательской конференции и сказал, что придет позже.

За обедом Володя добродушно подтрунивал над Сабуровым; тот пробовал оправдываться, но говорил настолько невнятно, что никто ничего не понял.

Когда-то Сабуров учился вместе с Володей, и подростками они дружили. Жизнь их развела. Володя мечтал о славе, о деньгах, интересовался, какие темы «ударные», кого за что наградили, кого проработали. А Сабуров прилежно писал пейзажи, которых нигде не выставляли. Этот человек, кажется, любил в жизни только живопись и свою жену Глашу, хромую, болезненную женщину. Глаша работала корректором, и жили Сабуровы главным образом на ее маленькую зарплату; жили плохо. По тому, с каким усердием Сабуров поглощал огромные куски пирога, которые подкладывала ему Надежда Егоровна, было видно, что не всегда он ест досыта. Глаша глядела на него влюбленными глазами. С тех пор, как они поженились, Сабуров, кроме пейзажей, писал жену; на портретах она казалась уродливой, но он и уродству придавал какую-то прелесть. Володя не раз говорил родителям, что Сабуров очень талантлив, пожалуй талантливей всех, но у него не хватает винтика в голове, человек не хочет понять, что теперь требуется, толку из него не выйдет.

Володя и за обедом посмеивался над Сабуровым:

— Ты все еще хочешь переспорить эпоху?

Сабуров в ответ горячо, но невразумительно говорил о Рафаэле, о чувстве цвета, о композиции, пока не вмешивалась Надежда Егоровна:

— Да вы кушайте, остынет...

Шампанское Надежда Егоровна приберегла под конец: ждала Савченко. Когда он пришел, она украдкой взглянула на дочь. Соня спокойно разговаривала с Танечкой о театре, даже не улыбнулась.

Андрей Иванович начал расспрашивать Савченко, что было в клубе.

— Меня удивил Коротеев,— сказал Савченко.— Я его считаю человеком умным, тонким, а выступал он по трафарету. Вы читали роман?..

— Не читал,— вздохнул Андрей Иванович.— Все как-то не выходит... А говорят, хорошая книга.

— Книга, может быть, и плохая, но волнует. Там, в частности, описана несчастная любовь. Коротеев напустился именно на это. Получается, что личным драмам не место в литературе, незачем «копаться в чувствах» и так далее. Скажи это Брайнин, я не удивился бы, но от Коротеева я ждал другого...

Володя усмехнулся:

— Такие конференции — это нечто вроде критической самодеятельности. Коротеев — умный человек. Зачем ему говорить то, что он думает?

Андрей Иванович не выдержал:

— Не все так рассуждают... Коротеев — честный человек. Об этом ты не подумал?..

На минуту все примолкли, смущенные необычно резким тоном Пухова. Потом Савченко снова заговорил:

— Жалко, что я выступил до него, но одна девушка ему здорово ответила. Вы ошибаетесь, Владимир Андреевич, там все говорили совершенно откровенно. Вы, наверно, давно не бывали на таких обсуждениях, а многое изменилось... Книга задела больное место — люди слишком часто говорят одно, а в личной жизни поступают иначе. Читатели стосковались по таким книгам.

— То же самое в театре!—воскликнула Танечка.— Три новые постановки, и не ходят... Играть абсолютно нечего. Искусство...

Ее прервал Сабуров:

— Вы правы, пора вспомнить, что есть искусство. Володя может говорить что угодно. Я не умею спорить. Но Рафаэль — это не цветные фотографии ..

Володя все с той же легкой усмешкой ответил:

— Рафаэля теперь не приняли бы в Союз художников. Не все способны творить, как ты, — для двадцать первого века. Кстати, я сомневаюсь, что в двадцать первом веке кто-нибудь заинтересуется твоими шедеврами.

— Не говорите так, Владимир Андреевич! — тихо вскрикнула Глаша.—Его последний пейзаж — это просто удивительно!

— Все-таки я не понимаю Коротеева,— повторил Савченко.— Я с ним работаю почти год. Живой человек, это чувствуется в каждом слове. Почему он налепел на Зубцова?

— Я читала роман,— сказала Соня,— и я вполне согласна с Коротеевым. Советский человек должен управлять не только природой, но и своими чувствами. А у Зубцова какая-то слепая любовь. Книга должна воспитывать, а не сбивать с толку...

Савченко от волнения опрокинул стакан.

— Не слепая, а большая. И вообще нельзя все раскладывать по полочкам...

Надежда Егоровна подумала: он-то ее любит. А Соня какая-то холодная. Не в меня, да и не в Андрюшу...

Может быть, виной тому было шампанское, но все заговорили сразу, перебивая друг друга. Сабуров что-то кричал о «силе цвета». Танечка, вскочив, повторяла: «Можете отрицать, но любовь — это любовь». Володя, передразнивая ее, по-театральному заламывал руки.

Андрей Иванович подошел к окну и, глядя на снег, залитый едким белым светом, думал: не понимаю я Соню. Может быть, она говорила, чтобы подразнить Савченко? Нет, она и без него так рассуждает... Наверно, она по-своему права. Не мне судить — слишком я стар для этого...

Соня, воспользовавшись общим оживлением, незаметно вышла из комнаты. Она прошла к себе и, не зажигая света, села на кровать. Ей хотелось хотя бы на минуту остаться одной. Она подумала: кажется, я теряю голову. Стоит ему поглядеть на меня, и я делаюсь какой-то неестественной, не могу ни говорить, ни думать. Это ужасно! Я должна с ним держаться как со

всеми, иначе он меня будет презирать. Он снова хотел меня оскорбить, сказал, что я все раскладываю по полочкам. Это глупо. Если он так думает, он меня совершенно не понимает. Чувствовать я тоже могу. Даже слишком. Но я ненавижу драмы, именно ненавижу...

В комнату тихо вошел Савченко. Он не видел Сони и, протянув руку, коснулся ее плеча, обнял, стал целовать.

— Ты с ума сошел! Сюда могут войти...

— Когда же ты перестанешь рассуждать? Если любишь...

Соня встала, зажгла свет, сердито на него посмотрела:

— Значит, не люблю. И знаешь, что? Не будем об этом говорить.

— Погоди... Я тебе сейчас все скажу...

— Ты уже сказал. Хватит! А теперь пойдем ко всем: заметят. Потом, отец обидится. Сегодня его день...

Вскоре после этого все разошлись. Соня ни разу не посмотрела на Савченко и, прощаясь, не сказала ему ни слова.

Савченко шел мрачный, облепленный снегом и думал, что, спеша из клуба к Пуховым, он, как дурак, мечтал о счастье. Мне двадцать пять лет, молодость кончилась. Коротеев прав, когда называет меня романтиком, я все преувеличиваю, увлекаюсь, как мальчишка. Так жить нельзя. Может быть, Коротеев вообще прав? Почему придавать любви такое значение? Мне дали интересную работу. Тот же Коротеев мне доверяет. Впереди много испытаний: мы живем в необыкновенное время. Представляю себе: мальчишка, как я, страдал от несчастной любви весной в сорок первом. А потом он защищал Сталинград... Но, может быть, одно не исключает другого? Помню, как приехал в отпуск дядя Леня. Я ходил за ним по пятам, спрашивал, как стреляют из миномета, как наводят понтоны. А он мне раз сказал: «Гриша, девушку я встретил, счастье мое...» И показал фото. Дядю Леню убили полгода спустя. Очень сложно жить... Вот я иду и все время думаю о Соне, поэтому и вспомнил дядю. А теперь даже нельзя

к ней прийти. Может быть, она любит другого? Она ведь ни за что не скажет — гордая. А я не гордый, я готов каждому признаться: нашел счастье и потерял...

Соня сказала Надежде Егоровне, что у нее разболелась голова от шампанского. Завтра она встанет пораньше и приберет, а теперь нужно спать.

Она лежала, не раздевшись, и думала о Савченко. Ясно, что я потеряла голову. Кажется, он тоже... Но почему у нас все разговоры кончаются ссорой? Характеры разные. Одной любви мало. Нельзя прожить жизнь с человеком, который тебя не понимает. Я не должна о нем думать. Конечно, он хороший — честный, прямой. Да и не в этом дело, просто я его люблю. Но человек должен управлять своими чувствами. В одном Савченко прав: противно, когда говоришь одно, а делаешь другое. Хорошо будет, если меня пошлют куда-нибудь подальше — на Урал или в Сибирь. Там как рукой снимет, убеждена... Но это слабость, могут оставить здесь, все равно выдержу. Это тоже экзамен — умею ли я владеть собой. Ясно, что умею. Но до чего тошно!..

Володя сказал, что проводит Танечку. Жила она далеко, а последний автобус они пропустили. Володя мечтал о такси, но Танечка сказала, что слишком много пила, нужно проветрить голову. Володя злился: тоже удовольствие — шагать в эту метель! А Танечка все время говорила: ей понравился отец Володи, он добрый и красивый, нечего смеяться, именно красивый — благородный; она не поняла, о чем говорил Сабуров, но он ей тоже понравился. Нельзя столько пить — после вина становится грустно; она несчастна — это как дважды два, но об этом не стоит думать.

Танечка сохранила детскую непосредственность, хотя ей было тридцать два года, из которых девять она проработала в различных театрах на периферии, окруженная людьми, пуще всего боявшимися наивности и душевной чистоты. Она работала старательно, считалась способной и постепенно выдвинулась: теперь ей часто поручали главные роли. Но в душе она была глубоко несчастна.

Девочкой, когда она мечтала о театре, жизнь актрисы ей представлялась трагичной и величественной. Казалось, все последующее могло бы ее отрезвить. Она увидела, что таланта у нее нет, да и не так часто увидишь талантливых актеров. Для других — это ремесло и только. Она увидела интриги, склоки, халтурные концерты, маленькие комнаты в грязных гостиницах, легкие связи и тяжелую жизнь. Танечка погрузилась, лицо ее покрылось крохотными морщинками (она утешала себя: это от грима); внешне она примирилась со своей судьбой, но где-то в глубине сердца жила мечта: есть другая, большая жизнь, просто Танечка сбилась с дороги...

Давно, семь лет назад, она хотела отравиться, когда актер Громов, которого она обожала, сказал: «Нам нужно разойтись, мы друг другу осточертели». Громов был ее первой настоящей любовью, и в мыслях она его называла мужем. Потом пришли другие: Колесников, Бородин, Петя. Она научилась сходить без иллюзий и расставаться так, чтобы не плакать. И с Володей она сошлась, не спрашивая себя, любит ли его, — от одиночества. И потом, он просил, уговаривал, настаивал...

Он был с нею мил; если дразнил, то во-время оставался, умел развеселить: была в нем та легкость, которой ей не хватало. Когда она начинала жаловаться, что она бездарность, что нет ролей, что все ей опостылело, он отвлекал ее от грустных мыслей смешными анекдотами или злыми рассказами о знаменитых актерах, которых встречал в Москве. Иногда он ее сердил своими рассуждениями, а иногда она смеялась и забывала про свою тоску. Он ей говорил, что халтурят все, ничего в этом нет исключительного, репа, пожалуй, нужнее искусства, но никто не пишет репу с большой буквы и не устраивает драм, как служить репе, — просто сеют, окучивают. Нужно жить, пока можно. А в жизни имеются и хорошие вещи — кусок синего неба в окне или гудок парохода ночью...

Они привыкли друг к другу. Когда Володя не приходил несколько вечеров подряд, Танечка скучала, нервничала. А он с удивлением говорил себе: ничего в ней нет, а мне она нравится...

Далеко до города! Метель не унимается. Володя злится. А Танечка говорит, не умолкая:

— Скажи, какие картины у Сабурова?

— Дом и два дерева. Или дерево и два дома. Другого он не признает.

— Почему?

— Он говорит, что это — живопись.

— А по-твоему?

— По-моему, он шизофреник. У него нигде никогда не купили ни одного этюда.

— А ты знаешь, почему ты так говоришь? Потому, что ты халтурщик. Да, да, самый настоящий! Он не шизофреник, он художник, это сразу видно. Я хочу посмотреть его картины. Дом и два дерева.. Ничего в этом нет смешного, перестань кривляться! Не думай, что я пьяна. Конечно, я очень много выпила. Но я тебе это скажу и завтра. Ты настоящий халтурщик. Ну, зачем тебе столько денег? Вот этот Сабуров...

— Ты что, влюбилась в него?

— Перестань говорить пошлости! Я завидую его жене. Он ее любит...

— Нет, он ее пишет, а она его любит — у них такое распределение. Сабурову нужно, чтобы кто-нибудь его хвалил, вот он и нашел Глашу. Она смотрит на его шедевры и пищит: «Это прсто удивительно!»

— Ничего здесь нет смешного. Трогательно... И хорошо, что она некрасивая, хромая... Вот ты никогда не сможешь меня полюбить...

— Ага, в три часа утра психологический анализ и гадание по ромашке. Вместо ромашек снег. Герой — старый халтурщик. Героиня — честная, но слегка потрепанная жизнью актриса...

Танечка на минуту остановилась, сердито посмотрела.

— Знаешь, мне надоело твое кривлянье. Если не можешь говорить по-человечески, лучше совсем не говори.

Так молча они дошли до ее дома. Володя хотел войти, но она быстро захлопнула дверь.

Она сидела в шубке, не сняла с головы платок. Снежинки растаяли. А из глаз закапали слезы. Это от

шампанского, говорила она себе. Сабуров — удивительный человек. Он должен относиться ко мне с презрением, я говорю Володе, что он халтурщик, и сама халтурю. Свинство! Но Володе это еще менее прощательно. Я маленькая актриса, меня не возьмут в областной театр. А о нем спорят, пишут, восхищаются. Никто не знает, что у него внутри пусто, ничего нет за душой. Он поэтому и смеется над всеми. Если он повесится, не будет ничего удивительного. И я не могу его спасти — тоже пустая. Жена Сабурова любит мужа. А разве я люблю Володю? Это не любовь. Я пошла на это, потому что страшно быть такой одинокой. Да и он меня не любит. Нехорошо все получилось... Когда я кончала театральное училище, я шла по улице и думала: вот там, за углом, счастье... Хорошо бы сейчас уснуть — завтра рано репетиция. Говорят, что если выпить много, заснешь, а у меня всегда наоборот. Да разве можно уснуть, когда начинаешь обо всем думать?.. Буду считать до тысячи — может быть, усну. А Сабуров сказал правду, что есть искусство...

Володя ехал в такси мрачный. Танечка, когда выпьет, становится невыносимой. Но мне она нравится, это факт. Она, вероятно, почувствовала, что мне сегодня трудно остаться одному, поэтому не пустила. Спать не хочется. Настроение поганое. Не люблю, когда начинают спорить об искусстве. Конечно, Сабуров талантлив, но только шизофреник может работать и класть холсты в шкаф. Для кого он старается? Разве что для своей хромоножки. Теперь все кричат об искусстве и никто его не любит — такая эпоха. Танечку Сабуров поразил, понятно, она ведь в душе мечтает об искусстве с большой буквы. Хорошо, если в нее влюбится какой-нибудь серьезный человек — химик или агроном, — ей нужно счастье до зарезу. Она зря на меня напустилась. Конечно, я халтурщик, но в общем все более или менее халтурят, только некоторые этого не хотят понять. Танечка думает, что я люблю деньги. Нет, но жить мне хочется, это факт. В Москве перед отъездом я пережил отвратительное время. Странно: когда у тебя есть деньги, тебя зовут в гости, угощают. А тогда никто ко мне не заглянул... Мне здорово повез-

ло, я не думал, что так скоро выкарабкаюсь. Но разве это преступление? Я ни на кого не капал, никого не топил. Будь это в моей власти, я сейчас же выставил бы вещи Сабурова, он очень талантлив, но дело не в этом, справедливости нет, просто я убежден, что Сабурову тоже хочется жить. Почему я его называю шизофреником? Обыкновенный человек, только упрям, как осел. Смешно было, когда Савченко выпил два бокала шампанского и начал обнимать Сабурова. Савченко — вообще болван. Удивительно, как он может нравиться Соне, она ведь неглупая девушка. Я понимаю, когда об идеях говорит отец — это его право, он вырос в другое время — революция, романтика... Но Савченко — урядный инженер, его дело заниматься станками, а не идеями, и вдруг выскакивает на сцену, декламирует. Глупо. Ведь все лавируют, хитрят, врут, одни умнее, другие глупее. Савченко, наверно, мне завидует. у меня нет службы, могу встать, когда вздумается; если купят одну картину, это сразу три или четыре месяца его зарплаты. Он считает, что я счастлив. А в действительности наоборот: он куда счастливее, потому что глупее. Мне все осточертело. Кстати, завтра нужно рано встать: я обещал закончить портрет Журавлева. У него лицо как грязная вата между двумя рамами. Я сделал его, конечно, величественным — передовой работник советской промышленности, подбородок поднят вверх, и в глазах выражение железной воли. Если музей действительно возьмет, как говорил Маслов, — это двадцать тысяч. Может быть, купить «Победу»? Приятно гнать машину — все мелькает, не успеваешь разглядеть... А в общем не стоит, лучше дать половину маме, она скрывает, что у них мало денег, отец все время раздает... У Журавлева красивая жена, я вижу ее портрет, написанный Тинторетто: рыжие волосы, бледная кожа, зеленые глаза... Все-таки до чего обманчива внешность! Ну, какая может быть жена у Журавлева? Наверное, ругается на рынке, а когда приходят подруги, восторженно щебечет: «В коммисионке модельные туфли из Парижа...» Обидно, что всю водку прикончил Сабуров, я бы сейчас выпил. В Москве Крюкин на обсуждении выставки разругал художников за

пессимизм, кричал: «Нам нужна бодрость», а потом запил, его отвезли в больницу... Ну, почему столько снега? Такая тоска, что и жить не хочется...

Андрей Иванович сидел в кресле, закрыв глаза. С ужасом он вспоминал слова Володи. Какая-то двойная бухгалтерия! Выступает на собрании актива, требует идейного искусства, изображает рабочих, а потом преспокойно объявляет, что все лгут. Нет, не могу об этом думать! Какое счастье, что Соня честная! Конечно, мне легче понять Савченко... Но главное, что она честная. Характеры у людей разные, глупо требовать, чтобы Соня была, как Савченко. А я иногда именно об этом мечтаю. Брюзжу на молодость, нехорошо! Настроение плохое: мальчиком я радовался дню рождения, а теперь расстраиваешься — цифры пугают. Да и сердце сдает...

Надежде Егоровне он сказал, что прекрасно себя чувствует, хорошо, что она придумала отпраздновать — вечер был чудесный... Теперь нужно лечь.

В последнее время он начал бояться ночи, как путешествия в далекий, загадочный край. Ему всегда делалось плохо, когда он ложился: то начиналось сердцебиение, то болела левая рука, то мутило; он не знал, как удобней лечь, и боялся повернуться, чтобы не разбудить жену.

Нехорошо дожить до такого состояния, подумал он. Страшна не смерть, а именно это... Иногда забываешь, хочется что-то сделать, а сил нет. Им овладела тоска; она шла не от мыслей — от тела, хотелось громко зевнуть или крикнуть. Надежда Егоровна уже спала, и от ее ровного дыхания Пухову было еще страшнее. На минуту ему показалось: вот и умираю. Только бы не крикнуть — Надя спит...

Он заставил себя подумать о простом, ясном. Завтра нужно пойти к матери Сережи. Понятно, что ей трудно: машинистка, наверно, получает неполных шестьсот. Но у Сережи редкие способности к математике, нельзя его взять из школы. Я говорил с Надей, мы сможем немного им помогать.

Почему-то он вспомнил жену в ранней молодости. У нее были волосы как у Сережи и хохолок торчал.

В солдатской шинели... Надя храбрая была. Помню, возле Ростова, когда нас окружили, она просила, чтобы ей дали винтовку. Сколько времени прошло? Ужас, до чего длинной может быть жизнь, вспоминаешь — и не верится. А ведь человек остается тем же и вдруг забывает, что возраст не тот... Надя и теперь смелая. Но она очень боится за меня. А я за нее боюсь. Как она останется одна? Ведь всю жизнь вместе прожили...

Теперь дыхание жены вызывало в нем нежность, тихую и горькую. Он подумал, что хотел бы пожить еще, даже больным и бессильным. Боль в сердце полегчала, стала той обычной, нудной болью, к которой он привык. Он понял, что, должно быть, скоро уснет, и обрадовался. Мир стал сразу уютным, и, засыпая, он еще подумал: хорошо, что не сегодня!.. Жить, видно, всегда хочется. До самой последней минуты...

4

Лена уснула только под утро и проснулась поздно: воскресенье. Она сразу подумала: нужно сегодня обязательно ему сказать все, нельзя скрывать, это нечестно.

В кабинете Владимир Андреевич работал над портретом Журавлева. Лена хотела сразу уйти, Иван Васильевич заставил ее посмотреть на портрет.

— По-моему, похож. Только на самом деле я толще. А глаза мои, это бесспорно.

Владимир Андреевич снисходительно улыбнулся.

— У вашего мужа очень мягкие черты лица, его трудно писать. Но я старался передать внутреннее содержание...

Лена молча вышла. Зачем он сказал про «внутреннее содержание»? С улыбочкой... Странно, что у Андрея Ивановича такой сын... Неужели на свете много людей, которые все время лгут? Как я...

Пойду сейчас в магазин, куплю Шурочке меду, она любит. Нужно обязательно выйти на воздух, голова тяжелая, ничего не соображаю. А день чудес-

ный. После такой ночи даже не верится... Когда вернусь, художника уже не будет. Я скажу Журавлеву: «Мне необходимо тебе все рассказать...»

День был морозный, ясный. Розовое солнце, как будто нарисованное. Сугробы. Больно глядеть... Обычно такая погода радовала Лену, но сегодня все ее угнетало. Куда ни погляди, снег. А до весны далеко, ужасно далеко! Да и что со мной будет, когда придет весна?..

Поговорить с Иваном Васильевичем ей не удалось: пришел Хитров, и они объявили, что хотя поздно, но они поедут на охоту. Журавлев, весело подсапывая, сказал Лене: «Может быть, зайца привезу...» Она в душе обрадовалась: приедет он поздно, так что разговор придется отложить до завтра. Это лучше: ведь я еще ничего не решила, не знаю, что ему сказать...

На следующий день было совещание в гороно, и Лена снова отложила разговор с мужем.

Каждое утро, просыпаясь в темноте от покашливания Ивана Васильевича, она сразу все вспоминала и думала: нужно на что-то решиться, нельзя жить в таком состоянии. Потом она шла в школу, уговаривала Мишу Лебедкина приналечь на учебу, спорила с завучем, читала ученикам Некрасова, стараясь их увлечь и сама увлекаясь звучанием печальных слов. Начинаясь вторая смена. Потом то собрание родителей, то семинар по марксизму-ленинизму, то кружок самодеятельности. Проходил еще один день.

Иван Васильевич хмурился: ни в чем она не знает меры. Разве можно себя так перегружать? Утром за завтраком или поздно вечером он старался ее развлечь: Брайнин, славившийся своей рассеянностью, пришел на работу в вязаной жакетке жены и, перепуганный, говорил, что он страшно похудел — свитер на нем висит, а потом прибежала его супруга, — одним словом, все чуть не померли со смеху... Иван Васильевич громко и невесело смеялся. Лена старалась улыбнуться.

Я веду себя бесчестно, — думала она, когда шла из школы домой. Нельзя жить с человеком, которого не любишь, даже не уважаешь. Я должна была бы давно все сказать. Но он ни за что не согласится отдать Шу-

рочку. Начнутся бесконечные истории. Страдать придется девочке. Я не имею права ломать жизнь ребенка. Что же мне делать?..

Январь был метельным; росли сугробы, и, пробираясь среди них, Лена чувствовала: навалилось это на меня, кажется, еще день — и сердце не выдержит...

Дома она шла к Шуручке. Если девочка спала или играла с отцом, Лена томилась. Как будто я и не жила здесь — все чужое. Она удивленно глядела на занавески, которые когда-то старательно набивала, на полочку с безделушками, на кресло перед лампой, на уют, созданный ею и теперь казавшийся ей враждебным.

Она пыталась доказать себе, что дело не в Коротееве: она о нем и не думает. Перестали встречаться, экая важность. Все же непрестанно она думала о нем. Вот в этом кресле он сидел и рассказывал, как в Бреслау они заняли верхний этаж дома, а внизу были немцы. Там погиб ученик консерватории лейтенант Бабушкин. Потом они говорили о музыке. Дмитрий Сергеевич вдруг встал и тихо выговорил: «Вы еще очень молоды, Елена Борисовна, вам трудно понять... Бывает на душе такой холод, и вдруг что-то дрогнет...»

Почему так глупо вышло? Виновата она: внесла в их дружбу что-то страшное, непоправимое. Он вовремя ее остановил. Но теперь она никогда его больше не увидит. А ее спасло бы самое малое: пусть зайдет на полчаса, пусть говорит вздор, что на дворе зима, что все романы плохие, все равно, лишь бы почувствовать его рядом... Нет, это глупо и унижительно! Так могли переживать женщины в старых романах, они ведь ничего не делали. А она советский человек, у нее есть чувство достоинства, милостыни ей не нужно. Вопрос не в Коротееве. Если они случайно встретятся — в клубе или на улице, — она приветливо улыбнется, скажет несколько слов, чтобы он не подумал, что она обижена. Но как быть с мужем?..

Лена никогда не связывала чувства к Коротееву со своей семейной жизнью, была уверена, что такой связи нет. Ведь мужа она разлюбила задолго до того, как познакомилась с Дмитрием Сергеевичем. На самом

деле близость Журавлева стала для нее невыносимой после вечера в клубе, когда она поняла, что любит Коротеева. Летом она считала, что в лице Дмитрия Сергеевича имеет хорошего друга, теперь она испытывала одиночество, знала, что если уйдет от мужа, никто ее не поймет, не поддержит. Все же именно теперь, потеряв Коротеева, она настойчиво думала о разрыве с Журавлевым, говорила себе, что, только объяснившись с ним, очистится от чего-то темного и бесчестного. Но, доходя до такого заключения, всякий раз она вспоминала про Шурочку и откладывала решительный разговор. Если бы можно было с кем-нибудь посоветоваться!..

Она издевалась над собой: женщине тридцать лет, а она не может ни на что решиться, хочет, чтобы решили за нее. Стыдно! Если бы, когда я вступала в комсомол, кто-нибудь рассказал, до чего я докачусь, я первая запротестовала бы: гоните такую! И все же она мечтала кому-нибудь открыться, спросить, вправе ли она распоряжаться судьбой Шурочки.

Еще осенью, когда она поняла, что ее жизнь с Журавлевым может кончиться разрывом, она подумала: может быть, написать маме? Нет, не напишу и, если поеду, не скажу. Конечно, мама умнее меня, она лучше знает людей, но такого она никогда не поймет, только огорчится, что у нее дурная дочь.

Мать Лены, Антонина Павловна Калашникова, председательница колхоза «Красный путь», была женщиной умной и властной. Замуж она вышла рано за человека тихого, мечтательного, который обожал нянчиться с детьми, а по вечерам вырезывал из дерева занятных зверушек. «Это что же, поросья?» — спрашивала его Антонина Павловна. Он застенчиво улыбался: «Слон. Для Леночки...» Он всегда как будто оправдывался: если мастерит игрушки, то для детей. А когда Лена и ее брат Сережа выросли, он приручил к дому ватагу ребятишек и раздавал им своих зверей. Лена держалась с ним как с равным, теребила его; когда она проказничала, он шепотом говорил: «Не нужно, Леночка, я маме скажу». С ранних лет Лена привыкла считать мать главой семьи, любила ее горячо, ревниво

(считала, что мать предпочитает Сережу), но, любя, побаивалась.

Лена быстро пристрастилась к чтению, училась хорошо, декламировала отцу «Демона», говорила: «Я, когда вырасту, буду книги сочинять». Брат Антонины Павловны работал в городе. Когда Лена окончила семилетку, ее отправили к дяде.

Вскоре после этого началась война. Отца Лены призвали сразу, а в сорок втором пришел и черед Сережи. Антонина Павловна осталась одна. Ее выбрали председателем колхоза. Время было трудное: женщины да старики. Пропала картошка, померзла, не все засеяли. Тогда-то сказались способности Антонины Павловны: хорошая хозяйка, она умела прикинуть, что выгоднее, умела приободрить людей, а когда нужно, накричать. Она завела при колхозе пасеку и задолго до того, как об этом начали писать в газетах, по совету одного эвакуированного литовца, уговорила колхозниц выращивать ранние овощи для сбыта в город. «Красный путь» погасил задолженность банку и стал одним из лучших колхозов области. Об Антонине Павловне написали в газете. К славе она отнеслась равнодушно и, прочитав статью, сказала: «Вот уж неинтересно... Лучше бы они побольше писали, как там наши воюют...»

Ее ждали большие испытания. Летом сорок четвертого года возле Минска погиб Сережа. А муж, получив тяжелую контузию в голову, вернулся инвалидом: дрожала голова, из руки падала кружка. Он робко спросил: «Тоня, такого примешь?..» Она обняла его и громко заплакала.

У Антонины Павловны осталась одна радость: Лена. Дочерью она гордилась, рассказывала по многу раз каждому, что Лена окончила школу с отличием и поступила в институт. Когда Лена приезжала на каникулы, мать пекла ватрушки, звала гостей, и Лена должна была подробно рассказывать про занятия, про студентов, про театр. Лена шутила, смеялась, и все же в ней оставался смутный страх перед матерью.

Сдав все экзамены, она приехала, чтобы рассказать родителям о Журавлеве, но два дня молчала, боялась,

что мать разгневается; под конец сказала отцу. Антонина Павловна руками всплеснула: «Леночка, что же ты матери не говоришь? Ведь радость какая! Внуков увижу...» Решено было, что зимой Антонина Павловна приедет на две недели в город, познакомится с Журавлевым, поживет у молодых.

Журавлев Антонине Павловне не понравился. Конечно, она не сказала об этом ни слова, но Лена заметила: губы у мамы как ниточки, значит сердится... Журавлев, напротив, восхищался тещей, говорил Лене: «У твоей матери государственный ум, это бесспорно». Антонина Павловна на прощанье расцеловалась с Журавлевым, но Лена подумала: мама, кажется, не одобряет моего выбора.

Действительно, Антонина Павловна не приехала, когда родилась Шурочка, и внучку увидела только два года спустя: Лена привезла ее к бабушке. В это время Лена начала охладевать к Журавлеву и однажды призналась матери: «Я себе его иначе представляла. Вообще издали все кажется привлекательней...» Антонина Павловна на нее накричала: «Ты это из головы выкини! Я с твоим отцом всю жизнь прожила, и никогда у меня таких мыслей не было. Поуняться нужно, Лена. Работа у тебя, Шурочка. Чего тебе еще нужно?...» Лена долго себя ругала: как можно с мамой откровенничать? Она замечательная женщина. Побольше таких — и мы быстро коммунизм построим. Но в чувствах она ничего не понимает, не хочет понимать. Может быть, и права — не время...

Теперь Лена вздыхала: хорошо иметь мать, которую можно посвятить в свои тайны. Есть ведь такие — у Мани, у Кудрявцевой. Я убеждена, что Соня Пухова ничего не скрывает от Надежды Егоровны. А разве я посмею написать маме, что хочу развестись с мужем? Она ответит, что воспитывала порядочную, а не кукушку. Ну, а насчет Коротеева... Да я скорее умру, чем ей признаюсь!..

В один особенно тревожный вечер Лена наконец решила поговорить с Журавлевым. Она даже приготовила первую фразу: «Выслушай меня спокойно...» Иван Васильевич сидел, окруженный грудой папок.

Лена не успела ничего сказать. Журавлев достал из-под кипы бумаг тетрадку и, улыбаясь, сказал:

— Ты погляди, это Шурочка кошку изобразила...

Лена выбежала: испугалась, что расплачется.

Она не могла сидеть дома, решила пойти к Вере Григорьевне. Ей она скажет все. Вера Григорьевна много пережила. Она поможет Лене...

5

Редко кто приходил к Шерер. Иногда появлялся главный конструктор Соколовский, стеснялся, подолгу молчал. Вера Григорьевна поила его чаем с вареньем. Потом ее вызывали к больному или же Соколовский обрывая фразу на полуслове, вставал: «Простите, что утомил...» Всякий раз после его ухода Вера Григорьевна спрашивала себя: зачем он приходит? Она считала Соколовского интересным и порядочным человеком, часто удивлялась: он думает, как я... Но ее угнетала мысль, что он приходит из любопытства: все говорят, что я нелюдимка, Горохов меня называет «рак-отшельник», вот Соколовский и наблюдает. А может быть, жалеет, что всегда одна. Это глупо, я не маленькая. Или скучно ему? Не понимаю... Медсестра Барыкина и работница доктора Горохова меж собой называли Соколовского не иначе, как «женихом»: «Ведь три года он ходит к Шерер». Но никогда Вере Григорьевне не приходило в голову, что Соколовский может быть ею увлечен.

Ей было сорок три года, ее волосы, прежде иссиня-черные, успели поседеть; но привлекательной казалась она не одному Соколовскому; была в ней прелесть, которую придают порой немолодой женщине годы испытаний и скрытые глубоко чувства, а слабая, еле заметная улыбка смягчала напряженное выражение лица.

Шерер считалась хорошим врачом, умела разгадать мысли пациентов, ободрить их, утешить. Когда прошлой зимой двое больных начали шуметь в больнице, что врачам вообще нельзя верить, а уж тем паче такой, как Шерер, к Вере Григорьевне пришел инженер Егоров,

долго жал ей руку, повторял: «Ай-ай-ай, какое безобразие! Да вы не поддавайтесь — люди вас любят...» Тогда же Шерер принесли горшочек с цикламенами, к которому была приколата записка «От группы рабочих».

В заводской больнице она работала свыше семи лет. Все ее уважали, но ни с кем она не дружила, и помимо Соколовского, приходила к ней изредка только Лена.

Думая о жизни Веры Григорьевны, Лена объясняла ее недоверчивость тем, что она потеряла дорогого ей человека.

Конечно, до войны Вера Григорьевна не только была постоянно окружена людьми, что следует отнести за счет необычайной общительности ее покойного мужа, но и сама не избегала общества, минутами даже заражалась весельем окружающих. Однако и тогда Ястребцев удивлялся: «Как ты можешь все время молчать?» Она смущенно отвечала: «Мне самой от этого трудно. Я иногда думаю, что я урод. Вот как бывает — с четырьмя пальцами...» Смеясь, он ее обнимал: «Эх, ты, моя беспалая! Я тебя и без слов понимаю...»

Замкнутой она была с детства. Ее отец, местечковый мечтатель и балагур, до смерти просидевший над сапожной колодкой с дурацкой песней о какой-то Мусеньке, у которой бусинки, говорил про свою дочь, что «ангел ей рот сургучом запечатал». Вера страдала от своего характера, давала себе клятвы, что изменится, заведет подругу, от которой у нее не будет тайн, и когда Маруся, или Феня, или Катенька оказывались не героинями, которыми они сначала мнились ей, а обыкновенными девочками, записывала в дневник: «Кругом слишком много лжи. А может быть, мне это кажется, потому что я моральный урод?», «Виновата я, меня нужно вымести из жизни...»

Вера покинула родной городок, стала студенткой. То были годы больших перемен, когда много было душевного кипения, взлетов, много и мути. Сверстницы Веры, рано повзрослевшие, легко выходили замуж и легко разводились. Веру товарищи звали «недотрогой», смеялись над ней. А она мечтала о большой люб-

ви. Уже тогда появилась на ее лице напряженность, сухой, порой сердитый блеск черных глаз, горечь.

Она нравилась студенту Васе (Васей звала его только Вера, другие говорили — Васька). У него было круглое лицо, веснушки даже зимой и веселый, звонкий голос. Он ее поджидал возле ворот университета, ходил в общежитие. Вера переживала его ласковые и настойчивые слова, как драму, говорила себе: очевидно, я чудовище, нельзя быть исключением, нужно жить, как все... Она уступила Васе не потому, что увлеклась им, нет, она решила переломить себя. Возможно, что со временем они привязались бы друг к другу, но Вася был молод, душевно неопытен. Все погубила его детская фраза, сказанная в ту минуту, когда Вера, пряча лицо в подушку, еще не смела понять происшедшее. Стоя с расческой у зеркала, Вася весело сказал: «А теперь пойдем кушать мороженое»... Вера долго промучилась и решила никогда больше не уступать.

Прошло еще четыре года, и она уступила: геолог Ястребцев овладел ее сердцем. Ей было тогда двадцать семь лет. Трудно было себе представить, как она сможет жить с Ястребцевым, настолько разными были их характеры. Ястребцев шумно разговаривал, не боялся показать свои чувства, мог крепко выругаться, приводил домой ватагу товарищей, часто они спорили до утра. Все в нем было Вере непонятным и все ее восхищало, она говорила мужу: «Никогда я не думала, что бывает такое счастье...»

Они расстались на четвертый день войны. Ястребцев уехал в Киев. Вера осталась в Москве: работала в эвакогоспитале. Потом ее послали в далекий тыл — в Краснодар; потом тыл стал фронтом, и Вера оказалась в санбате. Кто-то ей рассказал, что видел Ястребцева на Первом Белорусском фронте. Полгода спустя пришли другие вести: Ястребцев погиб в Дарнице. Она долго надеялась: может быть, неправда?.. Только в День Победы, радуясь со всеми, что горе войны позади, она вдруг поняла, что никогда больше не увидит мужа. Текли по черному небу огни, зеленые и красные. Вера Григорьевна не плакала, но на лице ее была та-

кая мука, что стоявший рядом врач сказал: «Ложитесь-ка спать, я вам дам замечательное снотворное»... Никому она не говорила о своем горе. Не рассказала она и о гибели семьи: немцы убили в Орше ее мать и младшую сестру. Работая, она сохраняла спокойствие, слыла невозмутимой. Кто бы мог подумать, что военврач Шерер, оставаясь одна, в отчаянье говорит себе: зачем я выжила?..

Горе не сделало ее бесчувственной к чужим страданиям. Давно, еще будучи студенткой, она сказала старшему врачу: «Давыдов страшно мучается, неужели нельзя помочь?..» Врач ответил, что медики не колдуны и что если Шерер будет нервничать, из нее никогда не выйдет врача. С тех пор прошло много лет, Вера Григорьевна научилась владеть собой. Военный госпиталь был жестокой школой: она видела растерзанные тела, обожженные лица, ослепших, потерявших рассудок; каждый день на ее руках умирали люди. Но и теперь она терзалась всякий раз, когда сознавала, что не может помочь. Осмотрев жену Егорова, она сразу поняла, что эту милую, веселую женщину ждет мучительная смерть; она знала, что сынишка Кудрявцевой обречен, что никакие лекарства уже не могут спасти Пухова; и чужое горе ее обступало, теснило, не давало дышать.

В тот день, когда Лена решила раскрыть свою душу Вере Григорьевне, умер бухгалтер Федосеев. У него было воспаление легких; впрыскивали пенициллин, опасность миновала, он сказал жене, что через неделю его выпишут, и неожиданно умер от инфаркта.

Вера Григорьевна пришла из больницы расстроенная, машинально переставляла книги на полке, когда позвонили. Наверно, Соколовский... Обычно, когда он приходил, она одновременно и радовалась и сердилась. Но теперь она раздраженно подумала: вот уж сегодня он ни к чему...

В комнату вошла Лена.

Вера Григорьевна заставила себя быть приветливой: знала, что Лена по-детски смущается и что ее легко обидеть.

— Вот хорошо, что пришли! Я ведь давно вас не видала. Что у вас нового, Леночка?

Лена начала рассказывать, что завуч ничего не хочет понять, программа по литературе не продумана, многое недоступно для такого возраста, а седьмой класс очень трудный, есть, конечно, ленты, но дело не в этом, Пухов умел подойти к каждому, а я не умею. Завуч отвечает формально, у него для всех одна мерка... Она говорила быстро, все на одной ноте, как будто отвечала урок, и вдруг замолкла.

Поглядев на нее, Вера Григорьевна забеспокоилась: больной вид, глаза блестят, на щеках красные пятна.

— Леночка, а вы не простудились? Теперь все грипуют.

Лена встала и кинулась к передней.

— Что вы, я совсем здорова. Вы меня простите — совсем позабыла, у нас сегодня совещание. Как раз насчет седьмого класса. Не сердитесь, Вера Григорьевна! Я совсем потеряла голову...

Последние слова она сказала уже в дверях, и в голосе послышались слезы. Вера Григорьевна крикнула:

— Леночка! Погодите...

С площадки лестницы раздался голос Барыкиной:

— Нет ее, убежала...

Нельзя было ее отпустить, подумала Вера Григорьевна. Она все последнее время нервничает. Может быть, поссорилась с мужем? Ведь она очень честная, мучительно все переживает. Как прошлой зимой, когда мы познакомились... А Журавлев — чинуша. Она никогда о нем не говорит, но, наверно, у них не все гладко. А может быть, у нее неприятности в школе? Завуч и на меня произвел скверное впечатление, чеховский человек в футляре. Бедная девочка!.. Но я-то хороша. Критикую других, а сама, кажется, тоже обзавелась футляром—окаменела. Не сумела расспросить, успокоить. Разве можно было ее отпустить в таком состоянии?

Вера Григорьевна раскрыла книжку медицинского журнала, прочитала страницу и вдруг догадалась: не понимаю даже, о чем статья... Нехороший сегодня день...

На ее бледном лице резче обычного обозначились чересчур темные большие глаза, две складки у тонкого рта, нависшие брови, придававшие ей суровость.

Снова позвонили, на этот раз пришел Соколовский.

Когда Журавлева назначили директором завода, его предшественник Тарасевич, которого перевели на работу в министерство, характеризуя инженеров, сказал: «Соколовский — человек с головой и работник хороший. Вы на его колкости не обращайтесь внимания. Евгений Владимирович любит подковырнуть. Оригиналы...» Журавлев часто вспоминал слова Тарасевича. Ничего в Соколовском нет оригинального, просто большой руки нахал... Еще недавно Иван Васильевич пожаловался Лене: «Приходит Соколовский и просит, чтобы я отменил приказ об увольнении Крапивы, у него, мол, жена больна, какая-то функциональная система и так далее. Я ему говорю, что за Крапивой четыре опоздания, нечего донкихотствовать. Так ты знаешь, что он выкинул? Вдруг спрашивает: «Иван Васильевич, неужели вы читали «Дон-Кихота»? Никогда не подумал бы». При всех. Что он наглец, это бесспорно». Журавлев давно бы освободился от Соколовского, но знал, что в министерстве его считают хорошим конструктором, найдутся защитники, гладко не пройдет. А Иван Васильевич терпеть не мог историй.

Сослуживцы Соколовского, как и бывший директор, считали Евгения Владимировича чудачком. Даже внешность у него странная: высокий, чересчур высокий, военная выправка, седые волосы ежиком, голубые глаза на лице цвета меди, так что и зимой кажется, что он только что приехал с юга, на левой щеке шрам, в зубах всегда короткая трубка с изгрызанным мундштуком, хотя курит он мало и только у себя дома. Работает и молчит. Слушает, как Брайнин спорит с Егоровым — укроют ли американцы Черчилля, — и молчит. Водку пьет, и опять-таки молчит. Правда, никто особенно не старается его вызвать на разговор: может любого подцепить, язык у него острый.

Товарищи, не первый год работавшие с Соколовским, мало что о нем знали. Говорили, что он родом с Севера, отец его рыбачил; шрам у него с гражданской войны; он любит музыку будто бы, увлекается астрономией; была у него семья, но жена не выдер-

жала его характера и сбежала; дома у него маленькая злющая собачонка; три года назад он должен был получить премию, но кто-то перехватил его изобретение. Твердо знали одно: прежде он работал на Урале, изругал директора, тот смешал его с грязью; даже фельетон был в газете «Гол, но сокол», в котором говорилось, что Евгений Владимирович возомнил себя мудрецом, а на самом деле он неуч; дело долго разбирали в Москве, в итоге Соколовского прислали сюда.

Среди различных странностей, которых у Соколовского было немало, имелась одна, пожалуй, наименее понятная: он иногда пил водку с художником Пуховым и даже удостаивал своего собутыльника разговором. Ничего нет удивительного в том, что Володя ценил общество Соколовского: молодому Пухову казалось, что после Москвы он попал в глушь, здесь мало людей с широким горизонтом, Соколовский — исключение. Иронические оценки, свойственные Евгению Владимировичу, восхищали Володю: он считал, что Соколовский, как он, смотрит на все свысока. Соколовский, однако, видел вокруг себя не только дурное, порой он радовался, даже восхищался; в такие минуты он моргал своими голубыми глазами и сердито пыхтел в незажженную трубку. Но об этом он никому не говорил, считая, что хорошее видят все. Другое дело — дрянь. Люди как будто сговорились ее не замечать. А пакости еще, ох, как много! Именно поэтому Соколовский любил «подковырнуть», что прельщало в нем Володю. Но как мог Евгений Владимирович благоволить к молодому Пухову, которого разглядела даже наивная Танечка?

Володя в присутствии Соколовского не походил на себя. Отцу он говорил, что нет никаких идеалов; перед Танечкой издевался над любовью; встречая Сабурова, накидывался на искусство. А таким растерянным и скромным, каким он бывал с Евгением Владимировичем, его не знали ни родители, ни Танечка, ни его московские приятели. Он тронул Соколовского своей душевной неудовлетворенностью, беспокойством. Когда Евгений Владимирович однажды выразил желание посмотреть работы Пухова, Володя в смущении отве-

тил: «Я вам их ни за что не покажу — это халтура. Может быть, мне еще удастся сделать что-нибудь настоящее». Только один раз Володя вызвал гнев Соколовского, сказав: «А чем Журавлев хуже Егорова или Брайнина?» Евгений Владимирович прикрикнул на него: «Вам, Владимир Андреевич, не двадцать лет. Может быть, в циники метите? Поганое ремесло, скажу прямо — клозетное. В древности циники презирали блага жизни, бродили по миру, говорили в лицо правду. Боюсь, что вы презираете не блага жизни, а, наоборот, порядочных людей, которые обходятся без этих благ...» Володя покраснел и, помолчав немного, признал, что Соколовский прав: Володя иногда ради красного словца говорит глупости, конечно же, Егоров и Брайнин — честные люди. Соколовский буркнул: «Ладно, пейте водку».

Молодой Пухов смог убедиться, что рассказы о чудачествах Соколовского не столь далеки от правды. Собачонка, которую звали Фомкой, действительно оказалась мерзкой. Фомка не только изорвал новые брюки Володи, но пребольно его укусил, так что он с неделю прихрамывал. Соколовский усмехнулся: «Он и меня два раза хватанул...» Володя как-то решил сказать: «Странный характер у вашего песика. Обыкновенно собаки не трогают своих...» Соколовский ответил, что подобрал Фомку на улице, не знает, как он жил раньше, видимо скверно, собаку сбили с толку: «Ведь он добряк, меня обожает. Сторож удивительный... Но вдруг на него находит затмение, не знает, кого от кого защищать. Это и с людьми бывает. Даже часто... Хотят помочь и на своих напускаются...»

Правдой оказалось и то, что Соколовский любит музыку. Володя как-то пришел, Евгений Владимирович сидел возле приемника, даже не поздоровался. Передавали Десятую симфонию Шостаковича. Когда передача закончилась, Соколовский долго молчал и наконец сказал Володе: «Хорошая вещь — математика, беспредельная...» И больше за весь вечер не обронил ни слова.

Володя видел на столе Соколовского самые неожиданные книги: Большой астрономический атлас, исто-

рию Индии, «Проблемы кристаллографии», стихи Петрарки. Когда он успеваает это читать, спрашивал себя Володя, и зачем это ему? Наверно, скучает. Как я... Окончательно ошеломил его Соколовский, сказав, что начал зубрить английский язык: «У нас в школе был немецкий. Хочется кое-что почитать в подлиннике...»

Брайнин не пропускал ни одной статьи о международном положении и обожал поговорить про дипломатию. Как-то, не видя кругом ни одного подходящего собеседника, он подошел к Соколовскому: «Как вы думаете, Евгений Владимирович, франко-американские разногласия имеют под собой, так сказать, реальную почву?» Соколовский улыбнулся: «Наум Борисович, вам это лучше знать, вы ведь международник. У французов есть поговорка: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Выходит так, что американцы могут, но не знают, а французы знают, да не могут». Брайнин не понял, но на всякий случай рассмеялся.

Случалось порой, что Соколовский первым заговаривал, и тогда ему было все равно, кто перед ним — Брайнин, молодой Пухов, Журавлев, рабочие. Это было, когда он вскипал, возмущенный скверной работой, непорядком или бездушным отношением к людям. Он ругал в такие минуты и профорга — не поставил вопрос о столовой для рабочих, а там безобразие; и Журавлева — дома в поселке не сегодня-завтра рухнут; и заведующего клубом Добжинского — ни концерта не устроит, ни серьезной лекции, зайдешь: или доклад Брайнина, и все спят, или пищит патефон, и три пары с горя танцуют; и Лапушкина — сдает сплошной брак, глядеть стыдно, а потом думают, что модель плохая; и газетчиков — описали завод, как будто это райские кущи, того и гляди, у Ивана Васильевича крылышки вырастут. Вот за такие речи некоторые его и побаивались.

В последнее время он как-то реже набрасывался на людей, и Журавлев удовлетворенно думал: стареет Соколовский, помягчал... Прочитывая газету, Евгений Владимирович теперь часто говорил: «Правильно на-

писано...» Недавно Егоров ему пожаловался на директора: «Я говорю: Васильев нам необходим, а с Мамульяном я вовсе не собираюсь расстаться, нужно создать новую штатную единицу. Он сам это знает, поскольку мы начали выпускать автоматические линии. Отвечает, как будто с неба свалился, что он входит с представлением не собирается, нужно сокращать штаты, а не раздувать. Ну, что с ним можно сделать?..» Соколовский улыбнулся: «Журавлева, по моему, скоро снимут». Егоров оживился: «Вы что-нибудь слыхали?» Евгений Владимирович покачал головой: «Ничего не слыхал. Но убежден... Я последнее постановление два раза прочитал. Все абсолютно правильно, насчет обуви, кастрюль. Хотят, чтобы люди жили...» Егоров растерялся: «Евгений Владимирович, какая же связь?..» Соколовский ответил: «Одно вытекает из другого». И больше ничего не сказал.

На стене у Соколовского висела фотография миловидной девушки. Молодого Пухова она очень интриговала, но спросить Евгения Владимировича он не решался. Клаве, которая приходила убирать комнату, Соколовский однажды сказал: «Это портрет моей дочери. Я ее не видел двадцать два года».

Евгений Владимирович женился в 1928 году на хорошенькой блондинке, студентке литературного факультета, которую звали Майей. Она его покорила печальным взглядом и робкой мечтательностью. Была ли она такой или Соколовский ее приукрашивал? Он тогда работал на одном из московских заводов, пора была трудная, ни на что не хватало времени, и он проглядел, как застенчивая мечтательница превратилась в вертлявую, крикливую женщину. Он удивленно переспросил: «Скучаешь? А почему ты не работаешь?..» Майя в ответ заплакала. Родилась дочка, и Соколовский думал, что его семейная жизнь наладится. Но Майя не унималась; каждый вечер он слышал те же жалобы: приятели Евгения Владимировича — один скучнее другого, это не люди, а машины, да и сам Соколовский — бесчувственный сухарь; настоящую жизнь она увидела только в каком-то американском фильме на вечере ВОКСа; она должна отдать девочку

своей матери и поехать на Кавказ: доктора говорят, что ее нервы не выдержат. Вернувшись из Кисловодска, она объявила мужу, что, во-первых, она не поправилась, хотя принимала ванны, ей пришлось пережить ужасную трагедию; во-вторых, им необходимо сейчас же развестись, иначе она умрет или попадет в клинику для душевнобольных; в-третьих, она познакомилась с одним очень симпатичным человеком, он теперь занимается коммерцией, приехал за пушниной, но он с высшим образованием, адвокат, конечно не коммунист, но сочувствует, по бумагам он бельгиец и живет постоянно в Брюсселе, но он русский; одним словом, он уже навел справки, ей дадут заграничный паспорт, через неделю она уезжает с ним в Бельгию; конечно, Машеньку они возьмут с собой, он обожает детей, девочка получит там настоящее образование; в общем все это к лучшему и для Майи, и для Машеньки, и для Соколовского. Евгений Владимирович попросил об одном: «Пиши мне, как Маша...» Жена расчувствовалась и поцеловала его, оставив на небритой щеке две красные полоски.

Когда она уехала, Соколовский понял, что не любит ее, да и никогда не любил. Он о ней не вспоминал, но часто видел перед собой Машеньку. В первое время Майя присылала ему регулярно открытки с изображениями готических церквей и замков, сообщала, что Машенька здорова. Последнюю открытку он получил незадолго перед войной: Майя писала, что Машенька очень любит своего отчима, русский язык она не забыла, ее все зовут Мэри, это красивей, чем Мари, в школе она считается одной из лучших, она не может написать отцу, потому что ушла в кино с учительницей. Соколовский сказал вслух: «Мэри» — и сам вздрогнул от печали, которая была в его голосе.

Много лет Соколовский не получал никаких вестей, не знал, жива ли его дочь. Три года назад один инженер, который ездил с делегацией в Бельгию, привез Соколовскому письмо от дочери. Мэри писала, что ее мать умерла еще во время войны; в Бельгии было ужасно; русские спасли всех, и она горда тем, что она русская; она училась в университете, но бросила,

увлеклась пластическими танцами, все говорят, что у нее большие способности, эти танцы дают одновременно ритм современности и пластику древней Эллады; она надеется, что когда-нибудь ей удастся побывать в России и показать свои танцы; будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу, она не пропустила ни одного русского фильма, ни одного доклада о жизни русских; она посылает отцу две фотографии — на одной она снята, когда училась, на второй, маленькой, она в хитоне, это теперь, в студии пластических танцев. Соколовский сердито спрятал танцовщицу в ящик стола, долго с нежностью и недоумением разглядывал другую фотографию, потом повесил ее на стенку и, глядя на нее, всякий раз удивлялся: непонятно, что эта девушка с милым лицом — его дочь, что зовут ее почему-то Мэри и что нет между ними ничего общего. Он ответил дочери, год спустя она прислала коротенькое письмо: она уезжает в Париж, очень торопится, очень довольна, и на этом переписка оборвалась.

После неудачного брака Соколовский с недоверием относился к себе, и когда ему нравилась какая-нибудь женщина, переставал с нею встречаться. Он привязался к своему одиночеству, не мечтал ни о любви, ни о дружбе. Так он дожил до пятидесяти с лишним лет, когда в заводском клубе встретил женщину, которая встревожила его душу. Он не помнит, о чем именно он говорил с Верой Григорьевной, когда они познакомились, — кажется, о музыке Баха. Вскоре после этого он встретил ее на улице и попросил разрешения прийти к ней. Он начал ее навещать, все острее и острее испытывая необходимость увидеть улыбку, освещающую ее суровое лицо, услышать тихий голос, почувствовать, что она рядом.

Он страдал бессонницей — засыпал сразу, но среди ночи просыпался, не мог ни снова уснуть, ни встать, и в эти часы он вспоминал каждую встречу с Верой Григорьевной, радости — они оба часто с удивлением и признательностью думали, что в их суждениях, вкусах, пристрастиях много общего, — обмолвки, недоумения, ее отталкивание, холод, сердитые брови и ласковые глаза, горячие, непонятные, как грозвая

ночь в конце лета. Соколовский долго не давал себе отчета, почему его привлекает Вера Григорьевна, но однажды, проснувшись задолго до рассвета, сказал себе: да ведь она моя любовь, поздняя, единственная! Всю жизнь мечтал о ней, ждал ее. Не скажу ей никогда об этом, приду завтра или через неделю, буду молчать или заговорю о Журавлеве, о жизни на Марсе, о Черчилле, о черте, все равно о чем, только этого не скажу. Счастье мое, мой вечер, моя страсть! Вера, — так я буду звать ее про себя, — как я радуюсь, что дожид до тебя!..

Он не разрешал себе часто посещать ее, боясь ей наскучить, и каждый раз внутренне как бы готовился к встрече, радовался и томился, чувствовал, что ничего нет тяжелей тех слов, которые не сказаны. Вот он придет, посидит, потом Веру вызовут к больному, а если и не вызовут, он встанет — пора уходить, она его не будет удерживать, и потом недели тоски, страсти, ожидания...

Сегодня он сразу заметил, что пришел не во-время. Вера расстроена, и он не узнает, почему, не сможет ее утешить.

Она сказала ему, что умер Федосеев. Мальчику Кудрявцевой сегодня немного лучше, мать радуется, а она знает, что он обречен. Конечно, многое за последние годы открыли, и все-таки... Люди верят в медицину, смотрят с надеждой на доктора, ждут спасения... Ужасно ощущение своего бессилия!.. Соколовский ответил, что человечество только начинает мыслить. Современникам расщепление атомного ядра кажется чуть ли не чудом, а для потомков это будет азбучная истина, как открытие кремня и огня или как изобретение колеса. Есть последовательность, движение вперед, значит есть и надежда.

— Это верно, но это абстракция, — сказала Вера Григорьевна, — а мне приходится иметь дело с живыми людьми. Хочу их спасти и не могу. Вы в прошлый раз говорили, что увлекаетесь астрономией. Я потом подумала: этому можно позавидовать. Наверно, вам иногда удастся взглянуть на нас с Марса или с Венеры. — Она усмехнулась. — Это должно успокаивать.

— Что вы, Вера Григорьевна! Как раз наоборот... Разве, когда мы думаем о бесконечности или, если хотите, о большей из всех данных, как нас учили в школе, минута от этого становится короче, беднее? По-моему, она становится куда значительней и тем, что пройдет, и тем, что за нею бесконечность минут, эпохи, миры, жизнь.

Вера Григорьевна слушала голос Соколовского, слова до нее не доходили. Она вспомнила беспокойные глаза Лены. Как же я ее не удержала?.. Ужасно трудно понять другого, труднее, чем разглядеть моря на далекой планете. Вот Соколовскому почему-то кажется, что он должен меня утешать. Как будто я Лена... Как все это тяжело и ненужно!

— Морозы какие стоят, — почему-то сказала она. Он кивнул головой.

— По радио передавали, что ночью будет тридцать пять.

Они оба молчали. Соколовский глядел на Веру Григорьевну, не мог оторвать от нее глаз, хотел ей что-то сказать и знал, что не скажет; его глаза беспокоили Веру Григорьевну; она еще больше насупилась.

Он собрался было уходить и неожиданно заговорил:

— В Москве в Ботаническом саду мне показали одно растение, вы, наверно, знаете — часто держат в комнате, в нашем клубе тоже есть — алоэ, столетник. Я читал, что его применяют как лекарство... Так вот, им один пионер принес... Он купил крохотный горшок, никаких у него больше цветов не было. Он раздобыл книжку о цветоводстве, там было сказано, что алоэ растет в пустыне, так что поливать его нужно очень редко, земля требуется самая плохая. Мальчику стало обидно, что он не может ухаживать за своим алоэ, он на книжку плюнул, пересадил, начал поливать, удабривать, словом обращался как с розой или с орхидеей, и, представьте, чудо — алоэ так разросся, что не помещался в комнате, пришлось его отнести в Ботанический, в оранжерею. Не знаю, почему мне это сейчас пришло в голову... Не сердитесь, я вас, наверно, утомил разговором... Очень мне хотелось вас повидать...

Вера Григорьевна отвернулась, глухо сказала:

— Не верю... Я говорю про растение. Если оно привыкло к климату пустыни, такой режим должен был его погубить. Впрочем, я ничего не понимаю в ботанике... Вы меня простите, Евгений Владимирович, я очень устала. Голова болит...

Он поспешно ушел. Была лунная ночь того большого холода, когда дыхание, кажется, сразу леденеет и когда птицы, замерзая на лету, падают вниз камнями. В глубокой печали, по пустым улицам, залитым ненужным светом, Соколовский шел к себе; губы его шевелились, изо рта шел пар. Что он говорил и говорил ли? Или только шевелил губами, тихий, печальный, без мечты и без слов?

7

Когда кончился последний урок, Лена в учительской увидела Андрея Ивановича. Кажется, впервые за весь последний месяц она заулыбалась. Конечно, она поделилась с Пуховым своими тревогами: в седьмом классе много отстающих, а Геня Чижиков совсем отбился от рук, пропускает уроки, курит, сдружился с какими-то хулиганами. Андрей Иванович начал ее успокаивать, посоветовал поговорить с матерью Миши Буркова. «С Чижиковым я сам поговорю, я его помню по третьему классу, озорник, но мальчик неплохой...» Они вышли вместе, Лена сказала, что проводит Пухова: ей хотелось еще его послушать, да и не тянуло домой. Она теперь всегда искала предлог, чтобы прийти домой попозже и не обедать с мужем.

Много дней прошло с того вечера, когда Лена поняла, что должна уйти от Журавлева; но ничего в ее жизни не изменилось; она не могла ни на что решиться, в отчаянии звала себя тряпкой, ничтожеством. Вот и проживу так до конца. Стыдно, противно... Шурочка, когда подрастет, первая будет меня презирать...

Андрей Иванович рассказывал:

— Новости у меня замечательные. Помните Костю? Ваш бывший ученик, в прошлом году окончил... Нет, не Пунин, другой Костя — Чернышев. Рыженький... Шалун был отчаянный, я с ним намучался, но хороший мальчик и способный, читает много, думает. Обстановка у него была отвратительная: отец погиб на войне, мать сошлась с кладовщиком, я его как-то встретил — негодяй и ко всему запойный. Костя подал в институт, не сомневался, что примут, — медалист. И, представьте, не приняли: мест не хватило, нужно оставлять для конкурса. Мальчик впал в полное отчаяние, а тут еще этот кладовщик выкинул его из дома. Одним словом, беда. Я ему говорю: «Занимайся, как будто приняли, главное — занимайся». Пошел я к директору, но вы Степана Александровича знаете — слушает, соглашается и ничего не делает. Я обратился в горком, они отвечают, что в середине учебного года это невозможно. Почему? Ведь Костя все заочно проходил, я проверял — нагонять ему не придется. Секретарь горкома говорит, что в порядке исключения может разрешить министерство. Из министерства мне отвечают, что с их стороны возражений нет, но вопрос должен решить директор. Иду снова к Степану Александровичу, он смотрит бумажку из министерства, кивает головой, соглашается — обидно, что мальчик погибает, — а в конце концов говорит, что поскольку министерство не дало указаний, он не в праве... Я тогда взял и написал министру, написал, что это мой бывший ученик, способности огромные, несправедливо, что не приняли, и про семейные обстоятельства... Еще в старом году написал. И вот сегодня Надежда Егоровна приносит письмо, ответ от заместителя министра, сообщает, что даны указания принять. Вы себе представляете, Лена, какая это удача!

Лена посмотрела на него и улыбнулась: удивительный человек! Ведь он очень болен, Вера Григорьевна говорила, что ничего нельзя сделать, мог бы протянуть еще год-другой, но не соблюдает режима. Она говорила, что болезнь мучительная, а он не жалуется, скрывает от всех. Сейчас он счастлив оттого, что Костю приняли в институт. Я теперь понимаю, какие люди сделали революцию. Если бы я смогла чему-ни-

будь у него научиться! Идти рядом — уж одно это приподымает...

— Я сейчас к Косте, порадую мальчика. Его один товарищ приютил, Санников, тоже мой бывший ученик, у него комната на Ленинской.

Лена забеспокоилась:

— Андрей Иванович, до Ленинской далеко, вам нельзя столько ходить. Лучше я его к вам приведу.

— А зачем? Чудесно дойду, посмотрю заодно, как Санников устроился. Вы на меня не смотрите как на инвалида — еще поскриплю... Когда сегодня ответ принесли, я на десять лет помолодел, уверяю вас. Откровенно говоря, я мало надеялся на успех; думал, получат мое письмо и отошлют в институт, так часто бывает. А вот разобрались... Огромная удача!

Он шагал осторожно, казалось, он ногами ощупывает землю, хотя зрение у него сохранилось хорошее, иногда останавливался, делая вид, что разглядывает окорок из пластмассы в витрине или старую афишу. Ему трудно идти, в страхе подумала Лена и взяла его под руку. Он засмеялся.

— Я вам говорю, что помолодел, как Фауст. Вот иду с молоденькой женщиной под ручку...

Он был в прекрасном настроении, шутил, смеялся, и лицо его действительно казалось помолодевшим.

Возвращаясь домой, Лена все время думала о Пухове. Обычно, подходя к дому, она нервничала, глядела на часы, гадала, ушел Журавлев или нет. Теперь она даже не вспомнила, что еще рано и муж дома.

Иван Васильевич сидел в кресле под лампой. Он закивал головой:

— Вот и хорошо, что пришла. Я думал, придется опять одному обедать.

Лена стояла, как окаменевшая, не прошла на кухню, ничего не говорила. Журавлев удивленно спросил:

— Что с тобой?

Она села напротив него и очень спокойно ответила:

— Ничего... То есть мне нужно с тобой поговорить. Хорошо, что я тебя застала. Я давно собиралась сказать и все откладывала... Мы с тобой не годимся друг

для друга. Ты не сердись... Я убеждена, что и ты так думаешь... Я очень долго колебалась — из-за Шурочки, а теперь вижу, что больше не могу. Понимаешь?

На минуту ее голос сорвался, но она сразу овладела с собой и снова спокойно сказала:

— Все это очень тяжело, поверь мне, но я все продумала, больше не могу. С моей стороны это будет бесчестно...

Иван Васильевич сначала подумал, что Лена дурит. Он считал ее неуравновешенной, про себя иногда называл истеричкой. Он попробовал на нее прикрикнуть, но Лена сказала, что нелепо устраивать сцены, нужно понять друг друга, расстаться по-хорошему.

Они молча пообедали. Журавлев сказал, что на завод не пойдет — он должен поработать над проектом Брайнина. Лена ушла. Он сидел и думал о происшедшем. Наверно, Лена в кого-нибудь влюбилась. Все последнее время она редко бывала дома. Ясно — нашла кавалера. Может быть, это молодой Пухов? Он с ней очень фамильярно разговаривал. У такого в Москве была сотня фифок, это бесспорно. В общем, я слишком порядочный человек, всем доверяю. Представляю себе, как она смеялась надо мной!..

Поздно вечером Лена вернулась. Журавлев ее поджидал, испытующе оглядел. Лена не выдержала, отвернулась. Прямо от него прибежала, подумал Иван Васильевич. Ему хотелось ее оскорбить, сказать что-нибудь гадкое, но он сдержался: в одном она права, действительно глупо устраивать сцены. Он сказал спокойно, даже мягко:

— Лена, ты, может быть, в кого-нибудь влюбилась?

Лена вышла из себя:

— Какое тебе дело? Это не имеет никакого отношения... Я тебе сказала прямо: не могу с тобой. Старалась и не могу. Не потому, что есть другой... С тобой не могу, понимаешь?..

— Не нервничай... Вопрос серьезный. Завтра поговорим, а то мы оба начнем кричать, ничего хорошего не получится...

Он снова разложил на столе бумаги и, глядя на

них, начал думать, как ему поступить. Он больше не сомневался, что у Лены любовник. Она оказалась вертушкой, это бесспорно. Но я ее сам выбрал, так что винить некого. В общем, ничего тут нет удивительного: воспитывают плохо, не внушают твердых правил. Жизнь здесь довольно скучная, до города далеко, да и в городе развлечений мало. Конечно, жена Хитрова занята работой, домом, но она серьезная женщина, а Лена — вертушка. Мне не повезло... Разводиться все-таки глупо. У меня дочь. Как я оставлю Шурочку без отца? Такого несчастья я прямо не могу себе представить...

Он встал и прошел в комнату, где спала Шурочка. Он долго стоял над ней, вытирая рукавом потные свисающие щеки, и громко жалобно дышал. Отнимают дочку...

Всю ночь он не спал, а утром сказал Лене:

— Живи, как хочешь. Я тебе не буду мешать. А разводиться нельзя, нужно подумать о Шурочке.

Лена ответила, что все время думала о Шурочке. Журавлев сможет к ней приходиться или брать ее к себе, школы Лена не бросит, никуда не уедет, постарается найти комнату в поселке.

Журавлев промолчал. Он пошел на работу, но весь день думал только о словах Лены. Она действительно спятила: боится расстаться со своим хахалем. Это же скандал: жена директора завода перекочевала к любовнику. Меня засмеют. Да и не любят у нас наверху таких вещей, очень не любят...

Он попробовал урезонить Лену:

— Когда я мальчишкой был, забегали в загс, как на почту, — сегодня распишутся, завтра берут развод. Теперь на это иначе смотрят. Законы другие... На такое у нас косятся, скажут: как же ты можешь детей воспитывать? Я уж не говорю о себе. Я член партии, стою во главе большого предприятия. Чувства чувствами, но об этом тоже нужно подумать...

Лена молчала.

На следующий день она не возвращалась к разговору. Прошла неделя, Журавлев немного успокоился: кажется, образумилась, поняла, что есть некоторые нор-

мы... Он был с нею предупредителен, ничего не спрашивал, старался поменьше ее обременять своим присутствием. Кто знает, может быть, обойдется? Ничего страшного не произошло. У меня ответственная работа, мне доверяют, это бесспорно. Любовные истории меня в общем мало интересуют. Я люблю Шурочку, а девочка ко мне не изменится. Хорошо, что не будет скандала. Наверно, во многих семьях такое же безобразие, но люди скрывают, никому не охота выволакивать свое грязное белье. Коротеев тогда, в клубе, правильно ругал писателей: живем, можно сказать, в историческое время, честным людям не до интриг... Коротееву остается только позавидовать — холостяк, не должен переживать таких историй. Он вообще умница, поправки к проекту Брайнина дельные, он учитывает специфику производства, но, конечно, придется все направить в Москву, пускай там решают...

Когда Иван Васильевич окончательно успокоился, Лена объявила:

— Я нашла комнату: временно — до лета — у Федоренко, его послали на курсы усовершенствования. В воскресенье все приберу, а вечером перееду...

Журавлев понял, что ее не переубедить. Ссориться глупо — и без этого тяжело. Лучше не усложнять... Он тихо ответил:

— Делай, как знаешь.

Лена перебралась к Федоренко в понедельник. Когда Журавлев пришел вечером домой, ему показалось, что квартира нежилая, хотя вещи были на месте, все аккуратно прибрано. Он ходил из комнаты в комнату, беспокойно разглядывая знакомые ему безделушки: странно, что Лена ничего не взяла, она очень любила эту шкатулку, я ей из Москвы привез,—и оставила... В столовой он вдруг увидел поломанную куклу Шурочки. Забыли, что ли? Или Лена выбросила?

Он взял в руки куклу и вдруг почувствовал, что нервы не выдерживают: еще минута — и он заплачет. Нехорошо все вышло, очень плохо! А я думал, что Лена меня любит. Когда новый год встречали, сказал Брайнину: «Выпьем за Лену, замечательная жена...» Чужая душа — потемки, это бесспорно. Но как теперь

скучно дома, и Шурочки нет, хочется куда-нибудь уйти, выпить...

Пришла работница Груша, принесла чайник, колбасу, сыр. Журавлев поспешно спрятал куклу. Нужно взять себя в руки. Бывает хуже. У Егорова умерла жена, а он работает. Моя жизнь — завод. Соколовский может зубоскалить сколько ему угодно, но в Москве доверяют мне, а не ему. У него вообще подмоченная репутация... Осенью Зайцев говорил, что есть предложение перевести меня в Москву. Что ж, это неплохо. В конечном счете завод — одна из точек, в главке я могу применить мой опыт в союзном масштабе. Конечно, если Зайцев не выдумал. Но зачем ему выдумывать?.. Интересно, что ответят из министерства насчет проекта Брайнина?

Он успокоился, и когда Груша спросила, можно ли убрать со стола, ответил: «Чайник оставь. Я поздно работать буду, может, пить захочется».

Лена на новом месте рано легла и все-таки чуть было не опоздала в школу. Поспешно одеваясь, она думала: уснула в одиннадцать, а сейчас восемь, и еще спать хочется... Она испытывала страшную усталость, как будто прошла пятьдесят километров или весь день колола дрова.

Как это случилось? Непонятно. Тянула, тянула и вдруг все выложила. Проводила Андрея Ивановича, мы долго искали, где комната Санникова, потом шла домой и даже не думала о том, чтобы сказать... Удивительно!

Она быстро шла, торопилась и вдруг улыбнулась: вспомнила, как Коротеев сказал: «Вы очень молоды, вам не понять...» За это время я успела состариться, потеряла счастье, но не сдалась: поступила, как подсказала совесть. Дмитрий Сергеевич меня не любит, может быть, презирает. Думает, что я хотела навязать ему мои чувства. Но он мне помог издалека, освободил от большой тяжести. Пусть не любит, но когда я о нем думаю, сразу становится легче...

— Леночка!..

Это была Вера Григорьевна. Она поджидала Лену у здания школы.

— Я все время волновалась, что с вами, два раза заходила, вас не было дома. Ну, а теперь вы веселая— идете одна и улыбаетесь. Значит, все хорошо...

— Вера Григорьевна, я теперь все время дома сижу. Только адрес у меня другой — я ведь переехала к Федоренко. Это корпус Г. Да вы знаете, где — мне его жена сказала, что вы ее лечили...

Вера Григорьевна сразу поняла все; ее суровое лицо стало нежным, даже беспомощным. Она начала уговаривать Лену поселиться, пока она не получит комнаты, у нее:

— Вам будет куда легче. Комната большая, можно разделить, мешать мы друг другу не будем, и от школы близко. Я ведь знаю жену Федоренко, ее деньги соблазнили. Вы всегда будете волноваться за Шурочку.. А у меня в соседней комнате работница доктора Горохова, хорошая старая женщина, мы с ней сговоримся, она будет смотреть за девочкой, когда вас нет. Сегодня же я вас перетащу...

Был холодный февральский день, но солнце уже чуть пригревало, и, войдя в класс, шумный, как птичий двор, взглянув на черную доску, исчерченную мелом, по которой метался солнечный зайчик, Лена подумала: а ведь скоро весна...

8

Андрей Иванович наволновался и слег; он скрыл от жены, что ночью у него был припадок, сказал, что просто устал, хочет денек-другой полежать. Надежда Егоровна встревожилась, привела Шерер, потом Горохова, уговаривала мужа принимать капли, которые прописал ей гомеопат, накрывала его двумя одеялами, хотя в комнате было жарко, громко вздыхала, и Андрей Иванович сердился на себя: нужно было понатужиться и встать...

Володя пришел с новостью: от Журавлева сбежала жена. Он рассказал об этом со смехом: ну разве не анекдот? Андрей Иванович так обрадовался, что пропустил мимо ушей насмешливые комментарии Володи.

— Это она хорошо сделала, — говорил Пухов, обра-

щаясь к Надежде Егоровне. — Никогда я не понимал, как она может жить с Журавлевым. Ведь я Лену знаю, два года вместе работали, совестливая она, во все вкладывает сердце, и ученики ее любят, я часто от моих мальчишек слышу: «Елена Борисовна помогла...» А Журавлев — типичный бюрократ. Из-за таких люди слезами обливаются, а им что... Одного растопчут, десять новых выскочат, как грибы после дождя... Странное дело, я Лену недавно видел, вот когда пришел ответ насчет Кости, она мне ничего не сказала... Как я за нее радуюсь, ты представить себе не можешь!

Володя зашел к Соне, спросил:

— Ты знаешь жену Журавлева?

— Нет. То есть она приходила несколько раз к отцу, но я с ней не разговаривала. А ты с ней знаком?

— Немного. Я ведь писал портрет Журавлева. Но я таких видел в Москве... Смешно, как отец всех идеализирует. Наверно, он еще помнит девушек, которые шли в народ, ну, или в революцию, одним словом, на каторгу. А теперь они выходят замуж за кинорежиссеров, за генералов. Или как эта — за директора завода... Отец в восторге, что она ушла от мужа.

— Откуда ты это взял?

— Факт. Последняя местная сенсация. Наверно, они стоят друг друга. Ты не согласна?

— Я тебе сказала, что я ее не знаю. Журавлева я тоже мало знаю, о нем говорят разное. Савченко, например, считает, что у него нет инициативы. Во всяком случае, я верю отцу.

— Значит, ты довольна?

— Ну, чего ты пристал? Я тебе говорю, что я ее не знаю. Но если отец говорит о ней хорошо, для меня это очень много. Противно только, когда разводятся. Разговоры, объявления в газете, суд... В старое время это, наверно, было естественно, а теперь как-то стыдно. Ведь не детьми женятся, можно выбрать, обдумать...

Володя расхохотался.

— Сделать анализы, пригласить экспертов.

— Ничего в этом нет смешного. Как ты нашел отца?

— По-моему, ему лучше. Когда я рассказал про Журавлеву, он даже вскочил...

— Вот это и плохо. Он сам себя убивает. Оказывается, он три дня подряд ходил пешком на Ленинскую, там собирались какие-то первокурсники, и он с ними разговаривал. Ведь это ужасно! Я сама раньше говорила маме, что он держится на своей энергии, но теперь я вижу, что мама права. Его нужно убедить во что бы то ни стало...

Володя перестал улыбаться.

— Не согласен. Отец — особенный человек. И потом, это другое поколение. Теперь кого-нибудь проработают — смотришь: у него уже инфаркт. А старики по-другому скроены. Я часто себя спрашиваю: откуда у них такая сила?.. Я понимаю, страшно за отца. Я смеюсь, смеюсь, а ты думаешь, мне не страшно? Но с ним ничего нельзя поделать — жил он по-своему и умрет по-своему...

Володя ушел в город, Надежда Егоровна заснула (она прошлую ночь не спала — волновалась за мужа). Соня заглянула: отец читал. Она решила с ним поговорить.

К этому разговору она готовилась долго, считала, что мать не может убедить отца: у нее ведь один довод — его здоровье, он молчит или отвечает шуткой, а час спустя отправляется к своим «подшефным». Со стороны отца это ребячество. Он кладет свои последние силы на десяток мальчишек. Его дважды просили написать большую статью о его педагогическом опыте. Он может это сделать лежа, если ему трудно писать, пусть продиктует мне. Право же, это куда важнее, чем плестись на Ленинскую и там беседовать с подростками

Все это Соня, теряя порой от волнения голос, высказала отцу

Андрей Иванович внимательно слушал; была минута, когда Соне показалось, что он с ней соглашается. А между тем все в нем возмущалось словами Сони, с трудом он заставил себя ее выслушать.

Какая она чужая! И Чернышев, и Санников, и Савченко понимают меня. Значит, дело не в возрасте. Надя

тсже уговаривает меня не двигаться, слушаться врачей, но никогда Надя не скажет, что глупо ходить к моим мальчикам, она знает, что это нужно, мы ведь с ней вместе начали жизнь, вместе ее прожили. У нее нет доводов против, она только боится за меня, мне тоже страшно, что она останется одна. А Соне мои поступки кажутся детскими, она так и сказала «ребячество», говорит со мной как старшая. Не понимаю...

— Не понимаю тебя, Соня, — сказал наконец Пухов. — Ты говоришь, что одно важнее другого. Откуда у тебя весы, чтобы взвесить? Может быть, и следует написать статью, я об этом часто думаю, кое-что подготовил. Но разве это значит, что я должен забросить моих мальчишек? Ты пойми: у них нет отцов, у Чернышева фактически нет и матери. Теперь ты твердо стоишь на ногах, но вспомни, как ты прибегала ко мне за советом... Ведь это живые люди, завтра они будут строить то, что мы начали. А ты предлагаешь, чтобы я их бросил...

— Я не отрицаю, что это серьезная проблема. Но что ты можешь сделать один? Такие вопросы должны решаться в государственном масштабе, иначе получается кустарщина. Сегодня ты поможешь советом Чернышеву, завтра тебя не окажется, и он подпадет под влияние какого-нибудь бандита. Я тебе сказала про статью потому, что это действительно нужно. Ты, например, говорил, что у тебя много доводов против раздельного обучения. Я читала об этом в «Литературке», идет дискуссия. Если ты выскажешься, это может дать реальные результаты, и не для десяти мальчиков — для десяти миллионов. А ты кладешь последние силы на то, чтобы уговорить мать Сережи или поговорить с Мишей о физике. Право же, это бессмысленно...

— Нет, Соня, осмысленно: общество состоит из живых людей, арифметикой ты ничего не решишь. Мало выработать разумные меры, нужно уметь их выполнить, а за это отвечает каждый человек. Нельзя все сводить к протоколу «слушали — постановили». От того, как ты будешь жить, работать, какие у тебя будут отношения с людьми, зависит будущее всего общества. Почему ты говоришь с иронией: «Что может сделать

один человек?» Не понимаю. Давно, за шесть лет до революции, я пошел к знакомому студенту, у него собирался кружок, читали Ленина, Плеханова. Я рассказал отцу, отец у меня был тихий, даже робкий — служил в конторе, привык к окрикам, — он мне говорит: «А сколько вас? Восемь человек? Сумасшедшие! Что вы можете сделать?» Так то был старик, ему простительно. Да и времена были другие... А ты молодая, комсомолка, ты дерзать должна, а не отмахиваться. Я ведь знаю, что у тебя горячее сердце, почему ты надеваешь на сердце обруч?

Он поглядел на Соню и замолк: глаза ее лихорадочно сверкали, шевелились губы — хотела ответить и не находила слов, и столько в ней было смятения, что Андрей Иванович забыл про спор, обнял дочь:

— И совсем ты не такая...

Она ушла от отца взволнованная, он ее не переубедил, но смутил; она почувствовала в его словах силу, далекую, даже непонятную.

Трудно жить, ох, как трудно!..

Она взяла книгу и принудила себя читать. Потом все в комнате посерело. Соня не зажгла света, подошла к окну. Снег казался лиловым.

Отец думает, что я уверена в своей правоте, он так и сказал: «Ты теперь твердо стоишь на ногах». А на самом деле я все время спотыкаюсь. Не вижу ничего, как сейчас на улице — не день и не ночь. Все непонятно. Хорошо уметь отшучиваться, как Володя, хотя я ему не завидую: по-моему, он не находит себе места. У жены Журавлева симпатичное лицо. Почему она ушла от мужа? Раньше это было понятно: насильно выдавали замуж или брак строился на расчете. Теперь все другое, а разводятся и теперь... Страшно, что нельзя прочесть чужие мысли. Идешь впотьмах, кажется, что перед тобой счастье, а еще шаг и разобьешься. Ужасная игра! Как у меня с Савченко... Отец и этого не понимает. Он всегда защищает Савченко. Это естественно: у них много общего в характере. Но когда отец загорается, преувеличивает, невольно чувствуешь уважение, он ведь доказал всей своей жизнью, что для него это не слова. А у Савченко это смешно — он по-

настоящему еще не жил. Я тоже еще ничего не понимаю. Отец почему-то убежден, что я люблю Савченко, недавно сказал: «Вот когда у тебя с ним все наладится...» Конечно, я его люблю. Наверно, как ни скрывай, это видно. Но ничего у нас не наладится, в этом я убеждена. Я что-то слишком часто о нем думаю. Глупо и ни к чему...

Она зажгла свет и дочитала статью о последних моделях генераторов для Куйбышевского строительства. Посмотреть бы на эти машины!.. Позвонили. Соня вспомнила, что мама спит, и побежала открыть дверь. Вот этого она не ждала: пришел Савченко.

Они не виделись со дня рождения Андрея Ивановича. Первые дни Соня думала, что он придет, вечером прислушивалась к звонкам. Конечно, он ей нагрубил, и вообще у них ничего хорошего не будет, но все-таки глупо рассориться... Савченко, однако, не приходил.

Почти месяц он выдержал, давалось ему это нелегко; каждый вечер он шел к Пуховым и, доходя до аптеки на углу улицы, поворачивал назад. Почему-то именно возле аптеки он неизменно задумывался: зачем я к ней иду? Она ведь ясно сказала, что не любит, даже разговаривать на эту тему не хочет. А просто дружить я не смогу, даже если захочу, лучше не проговаривать...

Он шел к себе или в клуб, иногда заходил к Коротееву, который был его соседом.

Когда Савченко прислали из института, Коротеев сразу взял его под свою опеку, ввел в работу, ободрил. «На первых порах всем трудно, одно дело теория, другое—возможности завода...» Однажды он позвал его вечером к себе: «Посидим над проектом Брайнина, он его переделал...» Когда они кончили работать, Коротеев стал рассказывать про ленинградский завод, где проходил практику. Они просидели почти до рассвета, и, прощаясь, Коротеев сказал: «Заходите, ложусь я поздно. Можно будет поговорить не только о машинах...» Когда Савченко ушел, Коротеев улыбнулся: хороший мальчик. Я в его годы был стреляным. Война была... А теперь все другое. У Савченко, кажется, еще пух растет...

Когда Савченко приходил, Дмитрий Сергеевич рассказывал про годы войны, про ночной бой у Дона, где погиб молоденький поэт, которого, шутя, называли Пушкиным и который всем читал одно стихотворение, начинавшееся словами «Когда я в старости тебя припомню», про маленький музей в разбитом немецком городе, где среди оленьих рогов, препарированных птиц и нацистских знамен он увидел изумительный портрет молодой женщины с подписью «Неизвестный художник XVI века», про свою молодость. Иногда они говорили о последних газетных сообщениях, о суде над Мосаддыком, о забастовках во Франции, о совещании министров; иногда спорили о книжных новинках. Савченко слушал Дмитрия Сергеевича с восторгом, забывая про свою несчастную любовь. Восхищался он легко, закидывая назад голову и показывая крупные зубы, ярко блестящие на смуглом лице. Он был похож на цыгана и, смеясь, говорил: «Наверно, бабушка в табор бегала, отец говорил, озорная была...»

Вчера он провел вечер у Коротеева. Они говорили о литературе. Савченко вдруг спросил: «Дмитрий Сергеевич, почему вы тогда, в клубе, напали на Зубцова?» Коротеев усмехнулся и не ответил. Потом он взял с полки книжку. «А стихи вы любите?» Савченко заулыбался: «Кажется, больше всего...» Коротеев начал читать:

.. Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали. —
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье.
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Савченко восхитился и сразу померк, погасли глаза, исчезла яркая улыбка: вспомнил Соню. Встречаемся, разговариваем, а смотрит на меня как на чужого... Странно, тогда в лесу мне показалось, что любит, целовала и так глядела, так глядела, что до сих пор, только вспомню, хочется побежать к ней, сказать: «Соня, да ведь это я...»

Он посмотрел на Коротеева. Тот сидел неподвижно, уронив книгу на пол. Они долго молчали. Наконец Савченко набрался смелости:

— Дмитрий Сергеевич, как по-вашему, если у человека есть чувство, он должен бороться за свое счастье? Мне иногда кажется, что это унинительно...

Коротеев едва заметно усмехнулся:

— Конечно, нужно бороться. Прорваться сквозь туман...

Савченко снова заулыбался.

И вот он пришел к Соне, он скажет ей все, прорвется сквозь туман, достанет свое счастье.

— Соня, пойдем погуляем. Мне нужно тебе много сказать, а здесь не говорится...

— Холодно на улице. Но если хочешь, пойдем.

Мороз снова крепкий: подул северный ветер. Люди идут быстро, а Савченко и Соня не торопятся, им некуда торопиться. Со стороны они кажутся счастливыми влюбленными, а они все время спорят. Савченко говорит о Коротееве, об автоматическом управлении, о Берлинском совещании, об итальянском фильме, который недавно показывали в клубе, и на все, что он говорит, Соня возражает (только о станках она ничего не сказала).

— Фильм замечательный! — восторгается он. — Когда мальчик рассердился на отца, я чуть было не заплакал.

— Сентиментально. Есть хорошие места, но конца нет. Я так и не поняла, что будет делать этот безработный — пойдет к коммунистам или останется незнательным...

Еще двести шагов. Савченко восторженно говорит о Франции:

— Никогда французы не допустят ратификации...

— Ты о ком говоришь? О коммунистах или о парламенте? Нужно считаться с реальными силами. Ты всегда увлекаешься...

— Я говорю именно о реальном. Ты ведь учила, что идеи, доходя до сознания миллионов, становятся материальной силой...

— В будущем, а мы говорим о том, что сейчас...

Еще двести шагов.

— Журавлев сегодня зря обругал одного фрезеровщика, назвал его бракоделом. Вообще он негодяй.

— Ты всегда преувеличиваешь. Отец говорит, что он заурядный человек, бюрократ.

— Коротеев тоже так считает. А по-моему, негодяй. Теперь он совсем взбесился, после того, как его бросила жена. Ты слыхала об этом?

— Слыхала, хотя это сплетни. Меня не интересует его личная жизнь.

— А меня интересует. Я хотел бы понять: какая женщина могла его полюбить? Я сегодня спросил Коротеева, что он думает о жене Журавлева, он ведь у них бывал, но он ничего не ответил — спешил. Я убежден, что она лучше его, и вообще это хорошо, что она его бросила.

— Не вижу ничего хорошего.

— А если он негодяй?

— Могла раньше подумать.

— Твой брат сделал портрет Журавлева?

— Кажется, да. Я не видала.

— А почему он решил изобразить такого негодяя?

— Не знаю. Наверно, заказали. Спроси его.

— Нет, я не стану его спрашивать. Когда Сабуров говорил про искусство, мне понравилось. А у твоего брата странные идеи. Он, по-твоему, говорил всерьез или разыгрывал?

— Не знаю. Он, как ты, — вы оба живете только своими впечатлениями, но он все видит в черном цвете, а ты в розовом.

— А ты?

— Я о себе не говорила... Я вижу так, как есть.

Они прошли много раз до аптеки и назад. Теперь Савченко говорит о книге, которую недавно прочитал:

— Никакой это не реализм, просто принижение человека...

Соне книга тоже не нравится, но она сердится на Савченко:

— Не нахожу. По-моему, интересный роман, поставлена большая проблема. Но ты не считаешь, что литературную дискуссию можно отложить? Слишком холодно. Ты, кажется, хотел мне что-то сказать? Говори. А нет, так пойдем домой, будем чай пить.

Савченко молчит. Вот уж красный кирпичный дом. Он говорит себе: сейчас или никогда. Какая глупость, что нет слов, вот совсем нет, как будто я их растерял на снегу!..

— Соня, я тебе сейчас скажу... Ты не смейся, но я без тебя не согласен... Сквозь туман, сквозь снег, все равно...

Она молчит. Он берет ее за руку, губами касается ее холодных губ. Она шепчет печально:

— Не нужно... Пропасть между нами.. Такая пропасть, что голова кружится...

Через секунду, придя в себя, она уже обычным голосом говорит:

— Я ведь тебе сказала, что у нас слишком разные характеры. Хватит об этом... Хочешь чай пить с нашими? Ну, что же ты молчишь? Не хочешь?..

Савченко в гневе отвечает:

— Ты мне еще не сказала, что дважды два — четыре и что нужно держать деньги в сберегательной кассе...

Надежда Егоровна зовет:

— Соня, ужинать иди. Отец сказал, что Савченко приходил. Почему ты его ужинать не оставила?

— Он спешил на совещание, я его немного проводила — голова болит. Мама, я ужинать не буду — так и не прошла голова...

Она запирается в своей комнатке. Ей очень горько: ведь она только что отказалась от счастья. Если рассказать отцу, он скажет: ты с ума сошла, раз вы друг друга любите, чего же себя мучить? Объяснить нельзя, но я твердо знаю, что мы не можем жить вместе. Дело не в том, что мы разругались. Он глупо мне сказал насчет сберегательной кассы, за одно это я могла бы его возненавидеть. Но он еще мальчишка. Сейчас он, наверно, сам жалеет, что погорячился. Я разбираюсь в этом лучше его. Мы можем завтра или через месяц помириться. Но ничего из этого не выйдет. Как могут жить вместе два человека, которые ни в чем друг с другом не согласны? Он считает, что я чересчур практична, признаю только таблицу умножения. Нет, но я живу на земле, витать я не умею. Не понимаю только,

почему нас так тянет друг к другу? Вот он не выдержал характера, пришел. И я не могу без него. Он меня только что ужасно обидел, но если бы он сейчас явился, не знаю, хватило ли бы у меня сил его прогнать. Что ж это такое? Когда он меня поцеловал возле ворот, я думала, что сейчас расплачусь или кинусь ему на шею. Отец сказал, что я надеваю на сердце обручи. Как бы хотелось пойти к отцу, сказать: ты прав, я сегодня говорила не то... И насчет меня ты прав. Такие страшные обручи, что сердце не может биться, погибаю, вот просто погибаю!..

9

Все последнее время Владимир Андреевич Пухов был в скверном настроении. Он не приходил к Соколовскому и, встретив как-то на улице Танечку, откровенно сказал: «Ты не думай, что я обиделся, все это ерунда. Просто я не в форме, никого не хочется видеть. Даже тебя...» Танечка ответила: «Я тебя развеселить не могу, сама сижу и скулю, премьера у нас снова провалилась, я поругалась с художником, зуб болит, нужно пойти в поликлинику, словом невесело...» Танечка всегда подозревала, что Володя «кривляется», но сказал он ей правду: он действительно несколько раз собирался к ней и передумывал — ей самой грустно, ее нужно утешить, а я сейчас способен нагнать тоску даже на присяжного весельчака...

Почему я расклеился, спрашивал себя Володя, и то ему казалось, что он скучает вдали от московской жизни, то он приписывал дурное настроение безденежью, то просто вздыхал: старею.

С деньгами, правда, были у него трудности. Портрет Журавлева ни у кого, кроме самого Ивана Васильевича, восторга не вызвал. Во-время подвернулась небольшая халтура: нужно было сделать для украшения сельскохозяйственной выставки панно с изображениями племенных коров и кур. С коровами он быстро справился — дали хорошие фотографии, а вот куры его измучили — оказалось, что они должны быть белые и не похожие на обыкновенных. Владимиру Андреевичу

предложили поехать в совхоз и там нарисовать с натуры. Он рассердился: ехать за восемьдесят километров из-за каких-то поганых кур? В конце концов ему достали иллюстрацию из журнала. Он выполнил работу и вчера получил четыре тысячи семьсот.

Он не повеселел, и это окончательно его смутило. Значит, дело не в деньгах. Конечно, приятно, что я мог дать матери три тысячи, но веселей мне не стало. Со мной происходит что-то поганое. Право же, когда в Москве меня выкинули из мастерской, я был в лучшем виде. Даже когда Леля преподнесла мне, что выходит за Шапошникова, я не так огорчился. Конечно, было обидно, я ведь думал, что она мне нравится, но вечером мы пошли с Мишей в ЦДРИ, там была жена Шварца, я начал за нею ухаживать, словом не поддавался настроению. А теперь как будто по голове дали. И ничего ведь не случилось. Если я пойду к Танечке, она меня встретит, как будто ничего не было, так и сказала: «Бросишь хандрить — приходи». Но мне и этого не хочется. Соне я сказал, что мне скучно в такой дыре, а, по правде, в Москву меня не тянет. Там нужно любезничать с художниками, смотреть, кого похвалили, кого разругали, прикидывать, все время отстаивать свое право на кусок пирога. Я это делал, и неплохо, а теперь не хочется. В тридцать четыре года не полагается жаловаться на старость, но, вероятно, я здорово постарел. Здесь меня никто не обижает, в местном масштабе я — первый художник. Есть умный собеседник — Соколовский. Есть Танечка. Отцу, по-моему, лучше, это хорошо. Я раньше не думал, что так к нему привязан. Нужно признаться, я его изводил, это глупо. Конечно, его понятия устарели, но он редкий человек, исключение, его нельзя обижать. Не могу все-таки понять, почему я впал в уныние? Наверно, оттого, что думаю. В Москве мне было некогда, там я вертелся, как белка в колесе. А здесь времени много, невольно начинаешь думать. Мне всегда казалось, что только сумасшедшие могут думать не о чем-то конкретном, а вообще. И вот я этим занимаюсь. Отвратительное занятие!

Володя стал реже отпускать шуточки, и глаза его потеряли тот вызывающий блеск, который когда-то

выводил из себя всех преподавателей, а еще недавно довел до слез Танечку. Теперь он разговаривал со всеми вежливо и равнодушно. Как-то в автобусе он оказался рядом с Савченко. Пришлось заговорить. Савченко рассказал о новом станке Соколовского. Володя не любил машин, но подумал: Савченко не такой дурак, как мне показалось. В тот же вечер он сказал сестре: «Я сегодня встретил Савченко. Он интересно рассказывал... Вообще он производит впечатление умного человека». Соня удивленно на него посмотрела, потом нахмурилась: «Не понимаю, почему ты мне об этом докладываешь?»

В тот холодный вечер, когда Соня и Савченко ходили между домом и аптекой, Володя вышел из дому, не зная, что ему делать. Увидев издали сестру с Савченко, он усмехнулся и перешел на другую сторону: нечего пугать молодежь... Куда пойти? Соколовскому я надоел. Когда я был у него в последний раз, он ни о чем не хотел разговаривать, морщился, как будто выпил бутылку уксуса. Интересно, что он делает вдвоем со своим Фомкой? Наверно, рычат друг на друга... Куда же все-таки пойти? В ресторане «Волга» командировочные уныло глотают биточки, а пьяницы дуют водку посплам с мадерой и орут. Неинтересно. А на улице зверски холодно.

Вдруг он вспомнил про Сабурова: почему бы не пойти к нему? В последний раз я был у него, когда приезжал из Москвы в пятьдесят первом. Почти три года... Можно посмотреть его шедевры. Бедняга, наверно, отвратительно живет. Куплю закусок, вина... Он хотя сумасшедший, но выпить и закусить любит, навалился на мамины пироги.

Володя зашел в магазин, накупил уйму снеди, взял водки, вина для жены Сабурова и в такси поехал на противоположную окраину города. Улица, спускавшаяся к реке, оказалась непроезжей. Володя с трудом разыскал кривой розовый домик, где когда-то проживал мелкий купец, а теперь жили четыре семьи, в том числе Сабуров с Глашей.

Войдя в комнатушку, Володя поморщился: черт знает что! Он представлял себе, что Сабуров должен

жить плохо, но такого не мог вообразить. Прежде у Сабурова была комната в здании художественного училища, но оттуда его выселили. Как раз перед этим он женился, комнату дали Глаше — дом числился за издательством. Две койки, здесь же печка с кастрюлькой, здесь же сотня холстов, тесно, не повернуться...

Глаша освободила для гостя старое продырявленное кресло, заваленное картоном, тряпьем, газетами, поломанной утварью. Сабуров радовался, как ребенок:

— Спасибо, Володя, что пришел, и Глаша радуется. Понимаешь, как совпало: сегодня день нашей свадьбы — два года уж вместе... Я мечтал отметить, говорил Глаше — позовем Пухова, но не вышло.. Конец месяца... А у меня лично ничего не получается, говорили, что в театр возьмут, одни разговоры... Да это неважно... Замечательно, что ты пришел! Чаю поьем, у Глаши варенье есть... Глаша, ведь мы с ним десять лет вместе учились. И пришел... Это нам с тобой повезло...

Володя улыбался:

— Поздравляю. Будем праздновать. Я и винца немного принес. Можно выпить за ваше счастье.

Глаша засуетилась: кажется хлеба не хватит. Все Володя принес, а насчет хлеба не подумал. Она сказала:

— Я сейчас сбегаю — «Гастроном» еще открыт...

Когда она ушла, Володя сказал Сабурову:

— Помнишь, когда приезжал Камерный театр, я с отцом поссорился, у меня не было ни копейки, а я хотел повести Миру, и ты мне дал двадцать рублей...

Сабуров рассмеялся:

— Ты рассказывал, что еще осталось Мире на лимонад, а ты сам не пил. Красивая была девочка. Ты не знаешь, что с ней стало?

— Погоди, я другое хотел сказать. Денег у тебя нет, это факт. Держи — тысяча, больше у меня сейчас нет, но они мне абсолютно не нужны. Вернешь, когда тебя сделают академиком. Мне не к спеху. Я тебе говорю: бери... Слушай, если ты меня не считаешь товарищем, я обижусь...

Вернулась Глаша с хлебом. Сабуров предложил сразу сесть за стол, но Володя попросил его показать свои работы. Сабуров отказывался:

— Зачем? Тебе еще не понравится... Лучше выпьем, вспомним школу...

Володя настаивал. Не так уж ему хотелось смотреть картины, но он считал, что Сабуров скромничает, а в душе обидится, если Володя его не похвалит. Глаша поддержала Володю:

— Обязательно нужно показать... Владимир Андреевич, у него последние пейзажи и мой портрет — в этой зеленой кофте — это просто удивительно!..

Володя любил живопись, хотя никому в этом не признавался, и, когда при нем заходил разговор об искусстве, молчал или балагурил. Несколько лет назад он провел неделю в Ленинграде, каждое утро он спешил в Эрмитаж и наслаждался старыми мастерами. Выходя из музея, он возвращался к привычной жизни, думал, где бы перехватить заказ, как расположить к себе Бландова из отдела искусств, что привезти в подарок Леле.

Молча глядел он на пейзажи Сабурова; лицо его не выражало ни одобрения, ни насмешки. Напрасно смотрела на него Глаша: так она и не поняла, понравились ли Пухову работы мужа. Володя только коротко говорил: «Не забирай, погоди», или «Отсвечивает», или «Покажи еще». Может быть, Сабуров сильно вырос за три года, может быть, Володя был особенно восприимчив в тот вечер, но он был подавлен. Он забыл про все, и напрасно Сабуров повторял: «Хватит, давай ужинать..»

Глядя в музеях на полотна великих живописцев, Володя восхищался, и это было светлым, легким чувством, похожим на любованье зеленью дерева или прелестью женского лица. Он считал, что когда-то было искусство, оно давно исчезло; недаром в музеях всегда что-то неживое — чистота, холодок, посетители говорят шепотом. Работы Сабурова его потрясли: ведь это сделал его современник, школьный товарищ. Да, вот чего нельзя понять: он написал этот пейзаж здесь, у маленького окна, в трущобе, со своей хромоножкой.

Какие полные тона, сколько глубины в сизо-синеватом небе, как тяжела глинистая земля, до чего это просто и непонятно! Сабуров показал последний портрет жены, и опять-таки Володя молчал. Глаша спросила: «По-вашему, похоже?» Он не ответил. Он видел только живопись: охру волос, оливковые тени на лице, зеленую кофту. И постепенно, как раньше перед ним вставала природа, бедная и величественная, талый снег, чернота голых веток, голубизна неба, чудо северной весны, так теперь он увидел женщину, уродливую и прекрасную,— можно всю жизнь прожить, только чтобы заслужить ее робкую, неприметную улыбку...

Молча он сел за стол, молча выпил стакан водки и, только выпив, спохватился: нужно что-то сказать. Сабуров налил ему еще. Володя встал и с не свойственной ему торжественностью произнес:

— За твое счастье! За ваше счастье, Глафира Антоновна! Я вас видел на его портрете. Я видел твои работы, Сабуров. За ваше счастье! Все.

Он снова залпом опорожнил стакан. Немного погодя Глаша спросила:

— Владимир Андреевич, скажите откровенно: вам, правда, понравилось?

Он снова не ответил, но, задумавшись, сказал Сабурову:

— Знаешь, что? Зависть — поганое чувство, но я тебе завидую.

Он выпил еще стакан и подошел к одному из пейзажей Сабурова. Яркорыжая земля, рябины, серый домишко и очень высокое, пустое небо. Володя долго глядел на холст. Потом с печальной усмешкой сказал:

— Написано удивительно. Это факт.

Сабуров возразил:

— Деревья не вышли. То и не то... Я осенью написал, день был необыкновенный — какой-то особенный цвет глины. Вот в сорок первом я тоже видел такое. Где-то возле Калуги. Мы тогда отходили. Со мной шел Степанов, замечательный был человек, агроном, я все мечтал его написать... Настроение наше ты представляешь. Вдруг я поглядел — изба, крутой спуск

к речке и тоже рыжая земля. Я говорю Степанову: «Видишь?» Он сначала не понял, а потом залюбовался и вдруг как крикнет: «Да мы их к черту прогоним!..» Возле Малоярославца его убили...

Он долго рассказывал про Степанова. Володя не слушал — то ли глядел на пейзаж, то ли сидел в каком-то оцепенении. Наконец он поднялся:

— Пойду. Очень не хочется, а пойду.

Когда он ушел, Глаша начала прибираться в комнате. Сабуров сидел на кровати, закрыв руками лицо. Ей казалось, что он задремал, и она ходила на цыпочках. Он ее тихо окликнул. Она подошла, обняла его.

— Видишь, и Пухов говорит, что удивительно. Ты должен поехать в Саратов. Они тоже признают. Не могут не признать. Нужно, чтобы устроили выставку...

Сабуров покачал головой.

— Эти деревья никуда не годятся. Мало ли что говорит Володя, я сам знаю, что не вышло, — то и не то. А вот здесь правый угол наверху просто не дописан. Нет, мне еще нужно поработать...

Он увидел печальные глаза Глаши и забеспокоился:

— Глашенька, не огорчайся. Родионов сказал, что с первого марта они мне дадут работу в театре — по чужим эскизам. Вот тогда заживем...

— Я не хочу, чтоб тебя отрывали от живописи. Зачем ты это придумал? Я ведь не про то говорила... Мне хочется, чтоб все увидели твои пейзажи. О деньгах ты не думай — придут. А не придут, проживем и так. Я сегодня удивительно счастливая! Конечно, Пухов плохо пишет, но он понимает в живописи, это сразу видно...

— Ты думаешь, что Володя не может писать? Ничего подобного. В пятидесятом он приезжал из Москвы, пришел ко мне, я тогда натюрморт писал — букет настурций. Ничего у меня не выходило. А он шутя написал. И как!.. Я оторваться не мог — темный кувшин и большие, яркие цветы. Беспокойно все. Как он сам... Не могу понять: что с ним? Особенно страшно, когда он шутит... Я с ним нехорошо поступил, пошел, когда позвали, и потом ни разу не проведал, думал —

ему неинтересно, а видишь, он уходит не хотел... Не знаю, что тут придумать... Вот если бы он встретил такую, как ты...

Глаша смутилась, и ее некрасивое лицо, освещенное слабой, едва заметной улыбкой, стало прекрасным, как на портретах Сабурова.

Володя, подымаясь в гору по скользкой улице, подгоняемый злым ветром, думал: это должно звучать глупо... Сабуров живет отвратительно. Хорошо, с этим еще можно примириться. Но никто ведь не знает его работ. Он сказал, что я первый художник, который к нему пришел. В союзе его считают ненормальным. В общем это правда: нужно быть шизофреником, чтобы так работать, не уступить, делать то, что он чувствует... Да, это глупо звучит, но это факт: я ему завидую. Я могу вернуться в Москву, покорпеть, полебезить, мне устроят выставку, я получу премию, повсюду будет «О, Пухов», «ах, Пухов», и все-таки я буду завидовать этому шизофренику. Танечка правильно сказала: хорошо, что он женился на хромоножке. Такой портрет нельзя написать на заказ... Здесь нужно не только мастерство — чувство... Вот я снова думаю ни о чем, так можно спятить. Но если я сойду с ума, я не напишу таких картин, как Сабуров, — и таланта не хватит, и чувства разбазарил. Буду даже в сумасшедшем доме писать белых куриц согласно инструкции... Вы этого хотели, Владимир Андреевич? Хотел. Значит, мы в расчете...

На следующее утро к Володе пришла Надежда Егоровна:

— О тебе в газете написали. Я сейчас прочитаю... «Нельзя не отметить глубоко реалистических панно художника Пухова, выполненных с присущим ему мастерством. Рядом с ними выделяется...» Нет, это уж о ковре... Ты доволен?

Он хотел выругаться, но вспомнил, мама обидится, кивнул головой, потом сказал:

— Хорошо, что отцу лучше, я за него волновался...

Надежда Егоровна, растроганная, поцеловала сына. Вот Андрюша не знает: у Володи хорошее сердце, он только скрытный.

Володя подошел к окну: снег, ничего, кроме снега... В комнате было тепло, но он почувствовал где-то внутри такой холод, что взял в передней пальто, накинул его на себя. А согреться не мог.

10

Это было в столовой. Все пообедали, разошлись. Коротеев сидел один с газетой перед остывшим стаканом чая: отчет о Берлинском совещании был длинный, и Дмитрий Сергеевич увлекся. Подошел Савченко:

— Журавлев хочет уволить Семенова. Месяц назад сам премировал, а теперь говорит «бракодел». Отличный фрезеровщик, я видел — он показывал молодым, как настроить станок. Держится он независимо, а Журавлев этого не любит. Да и не в Семенове дело, просто Журавлеву нужно на ком-нибудь сорвать злобу.

Коротеев еще думал о статье и спросил без интереса:

— А отчего ему злиться?..

— Вы разве не слышали? Жена его бросила, вот он и бесится

Коротеев умел владеть собой и все же не выдержал — изменился в лице, отвернулся:

— Почему они абажуры не повесят? Ведь по триста ватт, глазам больно...

Савченко ничего не заметил и спросил:

— Дмитрий Сергеевич, вы ведь с ней знакомы, объясните мне, как она могла его терпеть?

Коротеев посмотрел на часы:

— Егоров меня ждет... Я с газетой и про время забыл. Интересное вчера было заседание, Бидо так и не смог ответить, глупое у него положение — как-никак, француз.. Егоров боится, что сварные кронштейны не подойдут. Нужно проверить...

Коротеев быстро совладал с собой. Три часа он просидел с Егоровым, говорил о сварке, о перекосах, о кронштейнах. Когда Коротеев уходил, Егоров сказал:

— Плохо выглядите, Дмитрий Сергеевич. Наверное, воздухом не дышите. Мне Горохов сказал — мини-

мум два часа в день гулять. Два часа не выходит, а все-таки хожу домой пешком...

Коротеев шел и думал о Лене. Он пытался себя убедить, что думать не о чем: к нему это не имеет никакого отношения. Он должен жить своей жизнью, забыть про то, что давно окрестил дурью.

Но почему Лена бросила Журавлева? Они ведь прожили вместе больше пяти лет. Наверно, ей трудно было решиться на такой поступок. Я совсем оглупел, прикрикнул он на себя. Ну что тут удивительного? Можно было удивляться, что она его терпит. Летом, когда я бывал у них, я часто думал: о чем она может с ним разговаривать? Он не подлец, как это кажется Савченко, обыкновенный человек, чинуша. Савченко — романтик, потом ему все внове, а я видел много таких. Конечно, Лене от этого было не легче. Может быть, он в частной жизни лучше? Подкупал ее своими чувствами... А возможно, их сближала дочка. Ниточка была тонкой и порвалась. Я тут абсолютно ни при чем. Конечно, случись это летом, я сразу пошел бы к ней, постарался бы развлечь, если нужно, помочь. Тогда я мог с ней держаться просто. А теперь, даже если случайно встречу, не осмелюсь подойти: боюсь выдать себя. Ей и без меня трудно. Зачем еще огорчать непрошенными чувствами? Я не Савченко, в мои годы нужно все проверять — как линейкой чертеж...

Он уснул очень поздно и, засыпая, подумал, что сбразумил себя, больше у него не будет таких нелепых и мучительных ночей. А проснувшись, сразу вспомнил Лену. Где она сейчас? Даже если он решится поговорить с ней, он ее не найдет. Она могла уехать в другой город или к родителям. Нет, школы она среди года не бросит. Но он не может отправиться в школу. Если бы случайно ее встретить, подойти, молча заглянуть в глаза!..

Сколько это продолжается? Он начал изводить себя, когда вернулся из отпуска. Полгода... Дурь оказалась сильнее его. Но сдаться нельзя: он должен себя пересилить.

Но почему она все-таки ушла от Журавлева? Я ведь ничего не знаю... Что, если она переживает то же са-

мое? Вздор, я это почувствовал бы. Притворяться она не умеет. В романах так часто бывает: писатели, чтобы было интересней, нарочно запутывают — он не догадался, она не поняла. А в жизни все много проще. Такие недомолвки могут быть только у очень молодых. У Савченко... Недаром он спрашивал, что ему делать. А я из этого возраста вышел. Глупо тешить себя иллюзиями, даже непристойно.

Во время обеденного перерыва Коротеева позвал к себе Журавлев: хотел поговорить о сварных кронштейнах — у него серьезные опасения. Коротеев рассказал про разговор с Егоровым — нужно изменить методы сварки.

Потом Журавлев предложил вместе пообедать. Они говорили о германском вопросе, о выборах, о шахматном турнире. Коротеев старался быть как можно приветливее. Он еще утром подумал: Журавлеву, наверно, тяжело. Кто-кто, а я могу его понять. Может быть, я к нему вообще несправедлив? Многие о нем хорошо отзываются. Да я сам знаю, что он себя не жалеет, работага, привязан к заводу. Вспомнить только, как он себя вел, когда начался пожар... А недостатки есть у каждого. Трудно себя проверить, может быть, я ревновал, поэтому старался его принизить? Не знаю... Во всяком случае, теперь я буду с ним держаться дружески.

Тон Коротеева растрогал Ивана Васильевича. Он подумал: я всегда считал Коротеева отличным работником, он ко всему хороший товарищ: не интригует, не подкапывается под меня, как Соколовский. Может быть, ему уже рассказали про Лену? Наверно, рассказали: люди любят трепаться. Лена ему нравилась, он-то знает, что она вертушка — сегодня глаз не сводит, а завтра — до свидания, можете не показываться...

Когда они кончили обедать, Журавлев сказал:

— Есть у меня к вам разговор. Только здесь говорить неудобно. Приходите ко мне в воскресенье — пообедаем, а потом спокойно потолкуем.

Он неожиданно улыбнулся:

— Я теперь живу, как вы, по-холостячки...

Вспомнив потом эту фразу, Коротеев подумал: видимо, мучается, хотел показать, что спокоен. Воля у него есть, это я всегда знал, но, оказывается, он ее сильно любит.. О чем он хочет со мной разговаривать? Неужели о Лене? Глупости, я сам теряю голову и думаю, что все сошли с ума. Наверно, какие-нибудь указания из главка Насчет проекта Брайнина.. Но почему он не пожелал говорить ни в столовой, ни у себя в кабинете? Впрочем, это неважно. Хотел бы я знать, о чем сейчас думает Лена?..

После работы он снова попробовал себя укротить, но сердце не поддавалось. Он шел домой, и вдруг ему показалось, что впереди Лена, он догнал — пожилая женщина с кульком. То и дело в синеватом тумане ему мерещилась Лена...

Нелепо! Но где она может быть?..

Вечером он пошел в клуб: сегодня доклад Брайнина о международном положении, интересно, что он скажет о позиции Франции. Тайком от себя он мечтал: вдруг Лена там? Она иногда ходила на такие доклады... Он опоздал и вошел в длинный темный зал, когда Брайнин, уже сказав про Берлинское совещание, говорил о положении в Азии: «Индия, так сказать, естественно, встревожена американскими базами в Пакистане...» Коротеев старался в темноте разглядеть лица. Вспыхнул свет. Лены не было.

На следующий вечер он снова оказался в клубе, и этого он объяснить себе никак не мог: показывали старый фильм, который он дважды видел.

Он пошел в клуб еще раз — на вечер самодеятельности. Играли баянисты, потом парочка исполнила болгарский танец, потом Катя Столярова прочитала стихи о борьбе за мир. Коротеев сидел неподвижно: он боялся вглядываться в лица, знал, что Лены нет и что дурь победила.

Всю неделю он бессмысленно искал Лену: несколько раз подходил к школе, стоял, как будто любителю сугробами, повернувшись к зданию спиной и прислушиваясь, не скрипнет ли калитка. Он вспомнил, что Лена бывала у Пухова, разыскал дом, где жил старый учитель, и два часа простоял на холоду у ворот.

Наконец он понял, что не может жить в таком изнуряющем томлении, и дал себе слово не искать больше Лены. Это было в субботу. Вернувшись домой, он взял томик Чехова. Пришел Савченко:

— Дмитрий Сергеевич, вот хорошо, что вы дома! Пойдемте в театр, сегодня премьера — «Гамлет». Вы ведь говорили, что любите Шекспира... У меня лишний билет.

Савченко купил два билета неделю назад. После этого произошло неудачное объяснение с Соней, и он решил больше с ней не встречаться. Билет оказался ненужным. Увидев в окне Коротеева свет, Савченко подумал. Позову Дмитрия Сергеевича, вдруг пойдет?.. Он мало на это надеялся и даже удивился, когда Коротеев сказал:

— Пожалуй, пойду... Я «Гамлета» не видал со студенческих времен...

Конечно, Коротеев думал не о «Гамлете»: он снова отдался нелепым фантазиям. Лена говорила, что в прошлом сезоне не пропустила ни одной премьеры. Да, но теперь ей, наверно, не до театра... Откуда я знаю? Все может быть... Во всяком случае, ничего нет смешного в том, что я согласился, это не дурацкое хождение возле чужих ворот...

Савченко был в восторге и от Гамлета, и от декораций, и от того, что уговорил Коротеева пойти с ним. Дмитрий Сергеевич как будто с интересом следил за спектаклем. В антракте Савченко предложил пойти в фойе, Коротеев отказался, остался в кресле, даже не разглядывал публику, читал и перечитывал программу. Ему было стыдно перед самим собой, и, доходя в десятый раз до слов «постановка заслуженного артиста», он думал: я, как Савченко, он даже, кажется, разумнее...

Во время следующего антракта он решил выйти покурить вместе с Савченко. Спускаясь по лестнице, он увидел Лену. Он о ней в эту минуту не думал и так растерялся, что не поздоровался. Она шла с какой-то женщиной, кажется с Шерер. Он резко обернулся и побежал вверх:

— Елена Борисовна!..

Она остановилась и тихо сказала:

— Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Я подумала, что вы меня не узнали...

Он хотел поздороваться с Шерер, но Вера Григорьевна исчезла. Он не знал, что сказать. Молчала и Лена. Наконец он выговорил:

— Я хотел вас проведать, но не знал, где вы... Не думал, что встречу вас в театре...

Лена засмеялась:

— Почему? Я вам говорила, что я завязанная театралка. А тем более теперь — у меня чудесное настроение. Я ведь очень намучилась с седьмым классом, но есть заметные успехи. Пухов мне во многом помог. Вообще все очень хорошо сложилось. Я теперь живу у Веры Григорьевны. Комнату обещали, но только с осени. А Шурочка обожает Веру Григорьевну, боится, что мы от нее уедем. Вы ее не узнаете, так она выросла, сегодня я ей купила цветные карандаши. Не думайте, что я скучаю, напротив, мне еще никогда не было так весело. Конечно, я буду рада, если вы как-нибудь заглянете. Только не подумайте, что меня нужно навещать, у меня масса знакомых. Вчера я была на студенческом вечере, даже танцевала. Работы много, ко всему меня сделали агитатором, у меня три дома. Я боялась даже, что не выберусь в театр. Мне не нравится спектакль: Офелия ломается, а Изумрудов играет неврастеника, Гамлет, по-моему, — сильная натура. Вы со мной не согласны?..

Она говорила необычайно быстро, как будто боялась остановиться, и, не дожидаясь, что скажет Коротеев о Гамлете, протянула руку:

← До свидания, Дмитрий Сергеевич. Вера Григорьевна меня, наверно, ищет.

Он задержал ее руку в своей руке.

— Елена Борисовна, я все это время о вас думал...

Она почувствовала — еще минута и расплечется, но, совладав с собой, все той же скороговоркой ответила:

— Спасибо, но вы обо мне не беспокойтесь, я вам сказала, что у меня все хорошо. Очень хорошо...

Она убежала.

Коротеев доглядел спектакль до конца. Молча он шел с Савченко домой. Савченко был потрясен «Гамлетом», в его ушах еще звенели стихи. А Коротеев сухо думал: все более или менее досказано. Теперь нечего больше стоять у ворот Пухова и мечтать о счастье. Странно — я теперь не понимаю: как я жил до Лены? А ведь жил — учился, работал. Нужно жить, как будто ее и не было. Просто. Голо. Счастье — для молодых, для Савченко... Сейчас — комната, лампа, чертежи и никого кругом. Я не просто иду домой — я возвращаюсь к себе, к своей жизни. Постараюсь больше не дурить, не мечтать...

Всю ночь Лена проговорила с Верой Григорьевной. Когда они пришли из театра домой, Лена казалась веселой, говорила о спектакле, даже рассмешила Веру Григорьевну, передразнивая Офелию, — неудачно ее сыграла Танечка, очень неудачно... И вдруг Лена заплакала. Вера Григорьевна испугалась, дала ей каких-то капель, села рядом, обняла ее. Тогда Лена ей все рассказала:

— Я понимаю, что с моей стороны это сумасшествие. Он меня предупредил, что не любит, вообще не понимает такого, назвал ветреной, сказал, что нет у нас общих интересов. Я не виновата, что его полюбила, но я не такая, чтобы навязываться... И жалости мне не нужно. Он, конечно, решил, что я ушла от мужа из-за него, сказал, что хотел прийти проведать. Я его не пущу, если он придет... Вы, наверно, считаете меня девчонкой, но я вас уверяю, что это очень серьезно, никогда со мной такого не было, в первый раз. Но я не хочу, чтобы меня жалели. Я знаю, что вы меня поймете, вы много пережили... Это так страшно, так страшно!..

Когда она немного успокоилась, Вера Григорьевна сказала:

— Леночка, почему вы решили, что он вас не любит?

— Я знаю. Он для этого и выступил тогда в клубе... А теперь пожалел, захотел утешить. Ненавижу, когда меня жалеют!.. А я его люблю. Это я тоже знаю.

Когда мы с вами подымались по лестнице и я его увидела, у меня в глазах помутилось, чуть не упала...

Вера Григорьевна почему-то вспомнила рассказ Соколовского про цветок пустыни. Счастье, когда можно так любить, так мучиться, так плакать...

Журавлев старался не думать о Лене: боялся, что разнервничается, или, как он говорил себе, выйдет из графика. В прошлое воскресенье Лена привела к нему Шурочку, он с ней гулял, потом прятался в кладовой, и она кричала: «Папа, я знаю — ты под кроватью».. Когда Лена пришла за Шурочкой, он внимательно оглядел вертушку — выглядит прекрасно. А что ей? У нее, наверно, уже новый на примете... Ему хотелось спросить, собирается ли она оформить развод — тогда нужно сговориться, как мотивировать; но он решил — не стоит, сама скажет, когда до этого дойдет; а я не могу с ней разговаривать — расстраиваюсь...

Он считал, что спокойно переживает крушение своего семейного счастья, но происшедшее на нем сильно отразилось. До последнего времени, когда он думал о своей жизни, она казалась ему прямой широкой дорогой. Конечно, бывали и у него неудачи, одно время он даже опасался за свою карьеру, но потом он упрекал себя: поддался настроению, все обошлось, да и не могло не обойтись. Теперь он говорил себе: ну, почему мне расстраиваться? Проживу и без Лены... И он действительно мало ее вспоминал: было и кончилось, привыкну. Однако он начал испытывать неуверенность, все кругом потускнело, люди казались враждебными. Он потерял присущее ему хладнокровие, горячился, говорил при этом лишнее. Давно ли он гордился своим оптимизмом, повторял: «Нечего себе зря кровь портить». А теперь он стал подозрительным, видел повсюду каверзы, подвохи.

Лена уехала в понедельник — две недели назад. Во вторник было партсобрание. Председатель завкома Сибирцев в своем выступлении упомянул о жилищном

Вопросе: пора наконец-то приступить к строительству трех корпусов. Журавлев кивал головой, даже вставил: «Это бесспорно». Он понимал, что Сибирцев должен при каждом удобном случае подымать вопрос о жилищном строительстве: ему ведь приходится по десяти раз в день выслушивать жалобы рабочих. Дома действительно паршивые, того и гляди, рассыплются. Но теперь все в порядке: проект окончательно утвержден, во втором квартале приступят к земляным работам. Иван Васильевич промолчал бы, но вмешался Соколовский, который неожиданно поддержал Сибирцева и сказал, что строительство трех корпусов нужно было начать еще в 1952 году. Журавлев вскипел: строительство цеха точного литья утвердили в главке, это в интересах всего народа, Соколовский великолепно знает обстоятельства дела, а если он решил поднять такой вопрос на партсобрании, то «это чистой воды демагогия». Соколовский спокойно ответил: «Товарищ Журавлев, очевидно, не понимает роли парторганизации...» После этого перешли к агитпунктам, и все кончилось мирно.

Придя домой, Журавлев задумался: Соколовский неспроста заговорил о домах. Наверно, готовит какую-нибудь кляузу. Да и не в одних домах дело. Когда я ему сказал, что с новой моделью придется повременить, он разозлился: «Значит, и тормоза тормозите?..» Ничего здесь нет остроумного, очередное хамство. Сердце мне подсказывает: он что-то замышляет. Это старый кляузник, на Урале он попробовал повалить Сапунова — не вышло, его самого выкинули, вот он и хочет на мне отыграться. Если бы его опередить! Но черт его знает, что именно он задумал?..

Была минута, когда Иван Васильевич усомнился: может быть, я перебарщиваю? У Соколовского поганый характер, он всех задирает. А сколько он мне хамил? И ничего, шесть лет вместе работаем. Но тотчас он себе возразил: нет, на этот раз дело не в его характере. Он что-то учуял, у таких нюх, как у охотничьей собаки. Разве он заговорил бы о домах, если бы не рассчитывал меня спихнуть? Это ведь не его дело.

Завод для меня все. Особенно теперь, когда нет Лены. Неужели этому склочнику удастся спихнуть меня с моего места? Я никогда не был карьеристом, но я ценю, что мне доверяют — поставили во главе такого завода. В конечном счете, это все, что у меня осталось...

Журавлев действительно работал две последние недели с особенным усердием, в обе смены бывал на заводе, обходил цеха, беседовал с рабочими.

Когда в субботу Иван Васильевич напомнил Коротееву, что он завтра ждет его к обеду, Дмитрий Сергеевич подумал: ясно, насчет проекта Брайнина, он ведь сто раз об этом говорил, хочет снова все взвесить...

Журавлев его встретил радушно. За обедом сначала говорили о заводских мелочах, потом Журавлев вспомнил военные годы. Коротеев, в свою очередь, стал рассказывать, как они стояли на Висле. Он почувствовал ту близость, которая возникает между бывшими фронтовиками: они знают то, чего не видели и не пережили другие.

После обеда Иван Васильевич сказал:

— Вы у нас недавно, два года, но я вижу, что вы полюбили завод. А для меня теперь это вся моя жизнь...

Его голос дрогнул, и Коротееву стало не по себе: до чего он любит Лену! Впрочем, это понятно...

Журавлев продолжал:

— Вы сами знаете, Дмитрий Сергеевич, завод — это большая семья, а в семье каждый старается приспособиться к другим. В общем у нас дружный коллектив. Но есть одна трещина... Поверьте, для меня это не вопрос престижа. Я из крестьянской семьи, человек простой, дисциплину я требую только на работе. Вышел за ворота,— пожалуйста, говори, что хочешь. А работать в атмосфере недоверия нельзя. Я признаю, что у Соколовского большой опыт, но держится он так, что с ним невозможно сработаться, я пробовал, на все закрывал глаза, теперь это дошло до крайности...

Коротеев попробовал успокоить Ивана Васильевича:

— У Соколовского трудный характер, но он ценный работник. Не стоит придавать значение каждому его слову. Я лично его мало знаю, то есть знаю по работе, а так мы не встречаемся, но Егоров говорит, что язык у него острый. . Право же, Иван Васильевич, не обращайтесь внимания...

— Дело не в его островах... Ну, скажите, почему он все время в цехах, редко у себя в бюро бывает? Какое-то у него недоверие. К тому же Егорову, к вам...

— Да нет, что вы! Конструктору трудно работать, запершись в своем бюро, я сам часто прошу его проверить, ведь приходится учитывать технологию. Будь на его месте человек с другим характером, вам бы это в голову не пришло...

— А как же можно отделить человека от его характера? Вы знаете, что у него было на Урале?.. Ну вот, а над этим стоит задуматься. Там у него был директором Сапунов, человек молодой, энергичный, поднял завод. Соколовский землю рыл, придумал, что его проект нарочно положили под сукно. Время было военное. Мы с вами в блиндажах мерзли, а он о своей карьере думал, хотел уничтожить чистейшего человека. Его там разоблачили, в челябинской газете даже фельетон был, но у него какие-то связи, вот и выплыл.

— Не верится, Иван Васильевич... Соколовский менее всего похож на склочника.

— Вы чересчур доверчивы, Дмитрий Сергеевич. Есть за ним дела... Вы когда к нам приехали, кажется, еще застали Воронина. Прекрасный был человек, долго хворал — печень, не лечился, запустил, но в общем его доконала история с подшипниками шпинделя. Помните? А кто был виноват? Соколовский. Взвалили все на Воронина, а ошибка была в проекте, это бесспорно.

— Когда я присхал, Воронин уже не работал, лежал в больнице... Трудно себе представить, что Соколовский мог допустить такую ошибку — конструктор он блестящий...

До этой минуты Журавлев говорил тихо, даже благодушно, но тут он потерял самообладание, вскочил, а его отвисшие зеленоватые щеки покраснели.

— Вот уж не нахожу! Он блестящий склочник, это бесспорно. Вас не было на партсобрании, жалко, почетильное зрелище. Почему он поднял вопрос о жилищ-строительстве? Вы думаете, ему важно, как живут рабочие? Плевал он на это. Сибирцев, тот действительно болеет. А вы думаете, мне легко? Погляжу на хибарки, и сердце сжимается. Я счастлив, что скоро сможем разместить людей по-человечески. Ответственность на директоре, кажется, а не на конструкторе. Я ему это вежливо подсказал, а он меня начал учить, что такое парторганизация. Ну, скажите, какое у него право так со мной разговаривать?

Коротеев попытался успокоить Ивана Васильевича:

— Я не вижу в словах Соколовского ничего обидного. Он ведь старый член партии...

Журавлев окончательно вышел из себя, он больше не сознавал, что говорит, отрывисто выкрикивал:

— Старый член партии?.. Ну, знаете!.. Прошлое у него с пятнышком... Семья за границей. В Бельгии... Вы думаете, это сплетни? Ничего подобного! Можете посмотреть анкеты... Никогда я об этом не говорил, я честный работник, а не склочник... Напротив, я за него заступался — зачем вытаскивать прошлое?.. Если ему дали возможность работать, пускай работает... Но не такой уж он белоснежный, чтоб меня учить... В лучшем случае, ему можно доверять только на пятьдесят процентов, это бесспорно...

Коротеев молчал, погруженный в свои мысли. Странно сделан человек — из пестрых лоскутков, все перепутано. Когда Журавлев говорил про Ржев, я в нем чувствовал близкого человека. Он с любовью вспоминал боевых товарищей, никакой декламации не было, я убежден, что он говорил искренне. Час назад... А сейчас нашептывает, клеветает. Зачем он меня позвал? Хочет и меня втянуть? Никогда я не поверю в историю с Ворониным. Соколовский — честный человек. А второго такого конструктора нет. Жить с ним в одной комнате я не хотел бы — все говорят, что он любит подпускать шпильки. К чему это? Жизнь и без того кусается. Может быть, он сам искушенный, оттого и язвит? Во всяком случае, он честнейший человек.

Я дразнил Савченко — «романтик», а Савченко прав? Журавлев — низкий человек. Странно даже, что я с ним дружески разговаривал, пил водку. Почему я должен выслушивать его пакости?..

Коротеев встал.

— Мне нужно работать.

В дверях он вдруг остановился:

— Насчет Соколовского я не согласен, вы это учтите...

Журавлев долго не мог опомниться. Зря я доверял Коротееву, он снюхался с Соколовским. Трепло... Почему он к Лене ходил? Наверно, они не только философствовали... Я вообще чересчур доверчив. Разве я мог Лену в чем-нибудь заподозрить? А она оказалась вертушкой...

Все-таки с Леной было веселее. Будь здесь Шурочка, я сейчас поиграл бы с ней в ладушки. Да и дом какой-то пустой...

Насчет кронштейнов Коротеев прав — вопрос сварки. Завтра же поговорю с Егоровым, это поправимо...

У Соколовского есть рука в Москве, это бесспорно. Неужели он решил под меня подкопаться? Отец когда-то говорил: «Ты, Ваня, пальца в рот никому не клади». Все, кажется, изменилось. Понастроили заводы. Я мальчишкой гусей пас, а теперь директор. И все-таки пальца в рот класть не следует. Верил Лене, обманула. Коротееву доверял, он оказался треплом... Ну и настроеннице у меня сегодня! Давно такого не было. А ведь, собственно говоря, ничего не произошло...

Иван Васильевич просиял, когда неожиданно пришел Хитров: вот кто настоящий друг, я его не звал, а он почувствовал, в каком я состоянии...

Журавлев отвел душу: Соколовский был раздет, высечен, уничтожен. Хитров прерывал рассказ Ивана Васильевича восклицаниями: «Да что вы говорите!», «Вот этого я не знал!», «Удивительно!», «Нет, вы подумайте, какой мерзавец!» Это воодушевляло Журавлева, и, дойдя до прошлого Соколовского, он, уже не помня себя, выкрикивал:

— Семейку отослал, понимаешь? Бенилюкс он, а никакой не коммунист!

Коротеев долго не мог опомниться после разговора с Журавлевым. Противно! Конечно, Соколовского знают в главке, да и не такие теперь времена, чтобы Журавлеву удалось его угробить. Но все-таки отвратительно. Почему я не сказал ему в лицо, что он клеветает? Вероятно, я привык молчать — присмотрелся к дряни. Вот это-то плохо. Когда только начинали строить, было много мусора, естественно. А теперь пора прибирать — дом становится обжирым. Теперь такой Журавлев бросается в глаза...

И все-таки Савченко не прав. Журавлева нельзя назвать негодяем. Он любит работать. Воевал, видно, хорошо. Непонятно, как могут разные чувства уживаться в одном человеке? Лена от него ушла, но когда-то он ей нравился, за что-то она его полюбила. Он не подлец, а какой-то недоделанный, полуфабрикат человека...

Машину легко разобрать, заменить негодные части. А как быть с человеком? Спроси меня год назад, я, пожалуй, сказал бы, что Журавлев — неплохой работник. Правда, я и тогда видел изнанку, но старался не задумываться. Видимо, я изменился.. Что ни говори, Журавлев дурной человек, у меня сейчас такое ощущение, как будто я вылез из выгребной ямы...

Нужны другие люди. Как Савченко... Романтики нужны. Слишком крутой подъем, воздух редкий, гнилые легкие не выдерживают. Дело не в поколении — есть сверстники Савченко, которые переплюнут Журавлева. Лена много рассказывала про старика Пухова, а он сложился в самое темное время. Раньше тоже были хорошие и плохие люди. Если в человеке есть благородство, он не собьется, выйдет на большую дорогу. Но что делать с другими? Просвещать мало, нужно воспитывать чувства. Просвещения в Америке достаточно, я знаю по научным журналам, какие у них лаборатории. А прочитаешь, что они с неграми делают, и грусть берет — сплошная дикость...

Но как воспитать чувства? Наверно, трудно. Вырастить виноград в Крыму не штука, это все равно, что сделать из Савченко честного человека. А нужно взять дичок, молодого Журавлева и привить ему совесть:

виноград в Якутии... Трудно, но возможно: горением, чутьем, волей. Народ наш совершает изумительные подвиги, о нем справедливо говорят — герой. Нужно, чтобы и каждый отдельный человек был таким. Ведь Журавлев участвовал в общем подъеме, заразился им — и у Ржева, и здесь, когда начался пожар. Мы много занимались одной половиной человека, а другая стоит невозделанная. Получается: в избе черная половина... Помню, подростком я читал статью Горького, он писал, что нам нужен наш, советский гуманизм. Слово как-то исчезло, а задача осталась. В то время она была предвидением, а теперь пора за это взяться...

Я ругаю Журавлева. А если подумать, у меня у самого что-то дурное. Говорю одно, а живу по-другому. Почему я осуждал агронома Зубцова? Агроном Зубцов вправе сказать, что Коротеев двурушничает. Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни», или: «Одно дело принципы, другое — переживания». Это лицемерие. Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?.. Вероятно, оттого, что мы быстро меняемся, растем. Иногда мысль не поспевает, иногда сердце замешкается. Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...

Задремал ли Коротеев? Или просто, закрыв глаза, отдался быстрому потоку мыслей, образов, чувств? Он вспомнил Захарьева, который погиб возле Старого Оскола и, умирая, говорил: «Все будет хорошо..» Потом показался сварщик Лисичкин, он ворчал: «Ничего меня премировать, не я один придумал, все придумали...» Савченко сказал: «Они нас не запугают никакими бомбами — мысль есть, слово, честь..» Он видел замечательных людей, горячих, влюбленных, суровых и, однако, нежных — большое племя своего века, и на его лице показалась добрая улыбка. Потом он вспомнил Лену, и впервые мысль о ней слилась с упорной мужественной мечтой о будущем человеке.

На Хитрова рассказ Ивана Васильевича произвел сильнейшее впечатление. Он рассказал жене и старшему сыну, что Соколовский оказался двурушником, сознательно срывает работу, а семью свою устроил в Бельгии.

— Журавлев не стал бы зря говорить: человек осторожный, каждое слово взвешивает. Значит, Соколовского там разоблачили...

Хитров многозначительно поднял руку.

О разоблачении Соколовского он рассказал инженеру Прохорову и заведующему клубом Добжинскому, добавив: «Разумеется, это между нами». Прохоров решил, что Хитров треплет языком, все это выеденного яйца не стоит Добжинскому история понравилась — он был зол на Соколовского, который как-то высмеял клубную работу; кроме того, Добжинский любил ошарашить собеседника сенсацией и, разукрасив историю, преподносил ее каждому, кто только хотел слушать

Жена Хитрова работала в отделении банка; конечно, она поделилась новостью с сослуживцами; а сын Хитрова, десятиклассник, на перемене сообщил товарищам, что Соколовского накрыли, он, оказывается, бельгиец, скоро будет процесс.

Три дня спустя сотни людей уже знали, что с Соколовским произошло что-то нехорошее. Не подозревал об этом только Евгений Владимирович, который продолжал работать над автоматической линией, а по вечерам читал книгу о старых арабских рукописях и угрюмо думал: раньше чем через две недели я к Вере не пойду: решит — зачастил. А две недели — это долго, очень долго...

Был у него разговор с Журавлевым. Евгений Владимирович сказал, что замечания насчет системы сигнализации правильные, он внесет в свой проект некоторые изменения. Говорил он спокойно, и Журавлев подумал: кажется, я переборщил. Конечно, он склочник, но это у него хроническое. С поправками к проекту он частично согласился, сказал, что увлечен рабо-

той, не отпустил ни одной колкости. Похоже на то, что я напрасно расстраивался. Обойдется...

Журавлев постепенно успокоился и в следующее воскресенье поехал с Хитровым на рыбную ловлю. Прорубь весело дышала, Журавлев приговаривал: «Посмотрим, какая теперь рыбка...» Когда они возвращались в поселок, Хитров спросил: «Иван Васильевич, как с Соколовским?» Журавлев, будто он не ругал неделю назад главного конструктора, благодушно ответил: «Переделывает проект... Противный он человек, но в своем деле разбирается...»

Прошла еще неделя. Журавлев давно позабыл о печальном воскресном дне, когда, поддавшись настроению, обрушился на Соколовского, а история о том, что директор разоблачил главного конструктора, дошла наконец до Андрея Ивановича Пухова. За обедом он сказал:

— Никогда я не думал, что Журавлев способен на такую низость. Счастье, что Лена с ним порвала! Выдумал, будто Соколовский отослал свою семью в Бельгию. Будь я на месте прокурора, я привлек бы Журавлева за клевету...

Володя нахмурился. Вот так история! Отец наивен, достанется не Журавлеву, а Соколовскому. Я у него давно не был, наверно, он считает, что я его избегаю. Это совсем глупо...

В тот же вечер Володя отправился к Соколовскому. Он застал Евгения Владимировича за работой. На большом столе были разложены чертежи, Соколовский сидел в меховой куртке. Володя нашел, что он плохо выглядит, постарел, да и настроен, видимо, отвратительно. Он сунул Володе альбом с фотографиями строительства в Кузнецке:

— Посмотрите, я скоро кончу...

Строительство не интересовало Володю, но он задумался над надписью: «В день пуска первой домны на память Евгению Владимировичу Соколовскому от его товарищей по работе». Дата: 1931. В тридцать первом мне было одиннадцать лет, я еще гонял голубей и гордился пионерским галстуком. В общем Соколовский — старик. Что у меня с ним общего? Если подумать, ров-

но ничего. Когда я с ним познакомился, он мне показался скептиком. Я думал: приятно встретить человека, который ни во что не верит. А какой он скептик — увлекается своей работой, читал и перечитывал постановления о животноводстве, вообще нормальный советский человек, только умнее окружающих. Может быть, поэтому Журавлев и решил его потопить. Никто за него не заступится. Обиженных у нас не любят, доверяют только удачникам, вроде Журавлева. Представляю себе, что у Соколовского на сердце.. Хорошо, что его еще не прогнали с работы. Впрочем, что тут хорошего? Прогонят завтра...

— Ну и холодище здесь! — сказал Соколовский, не отрываясь от работы.

— Здесь очень жарко,— возразил Володя,— да вы еще в куртке...

— Значит, простыл, — проворчал Соколовский и продолжал чертить.

Час спустя, кончив работу, он угрюмо сказал Володе:

— Давно не были. Что у вас нового? Работаете?

— Мало... Я не хотел вам надоедать..

Он помолчал и наконец решился спросить:

— Евгений Владимирович, я слышал, у вас неприятности на работе?..

— Да нет... Вот проект приходится переделывать. Есть резонные замечания ..

Соколовский был недоволен приходом гостя, он плохо себя чувствовал, хотел поскорее лечь. Он молчал. Володя не уходил.

— Ну как, интересные фотографии? — спросил Соколовский.

Володя машинально ответил:

— Очень.

Очевидно, Соколовский ничего не знает. Может быть, это лучше? Сидит, работает... Да, но Журавлев его настигнет врасплох. Необходимо предупредить: он сможет подготовиться, ответить. И Володя сказал:

— Я вас спросил о работе, потому что Журавлев решил вас потопить...

— Вот как... Это, что же, в связи с новой моделью?..

Володя встал и подошел к Соколовскому:

— Он говорит, что вы отослали вашу семью за границу.

Здесь-то и произошел комический инцидент, который на минуту отвлек внимание обоих от Журавлева. Казалось бы, Фомка мог привыкнуть к Пухову, который всегда старался его подкупить куском сахара или кружком колбасы, но Фомка не любил, чтобы кто-нибудь подходил близко к его хозяину, он выскочил из-под дивана и вцепился в штанину Володи. Соколовский во-время схватил его за шиворот.

— Дурак! На своих жидается, — сердито повторял Соколовский.

Володя не понял, говорит ли Евгений Владимирович о Журавлеве или о Фомке. Он ждал, что скажет Соколовский про скверную сплетню, пущенную Журавлевым. Но Соколовский молчал; лег на кушетку и удивленно пробормотал:

— Неужели здесь жарко? Зуб на зуб не попадает...

Только теперь Володя заметил, что у Соколовского больной вид, наверно, простудился.

— Хотите, я вас чаем напою? — предложил Володя. — Могу сбегать за коньяком.

— Не нужно. Расскажите лучше, почему у Леонардо да Винчи вышла неудача с красками? Я читал когда-то и не понял — в самих красках дело, или он их неправильно замешивал?

— Не знаю. Я вообще, Евгений Владимирович, очень мало что знаю...

Оба молчали. Володя спросил:

— Может быть, вы спать хотите? Я пойду...

— Сидите, раз пришли, вы мне не мешаете. А вам нравится живопись Леонардо?

— Я видел только в Эрмитаже, трудно судить.

— Мне его ум нравится. Чем только он не занимался! Вообще прежде люди были всесторонними. Микель-Анджело ведь и стихи писал. Как вы думаете, Эйнштейн мог бы написать стихи? Дайте мне пальто, вон там, на вешалке...

Володя подумал: скрывает, что расстроился. Наверно, ему кажется унизительным опровергать домыслы Журавлева. Может быть, он прав. Не нужно было говорить, это его доконало. Когда я пришел, он спокойно работал. А сейчас лежит и говорит несурязицу. У него, должно быть, сильный жар. Хорошо бы привести врача: как-то страшно оставить его одного.

Соколовский снова заговорил:

— Я когда-то читал в одной романтической повести, что агава долго не зацветает, она цветет раз в жизни и после этого гибнет. Оказывается, вздор. В Ботаническом мне показали агаву — цвела и живет. Просто она, когда цветет, нуждается в особом уходе.

Володя испугался: кажется, бредит.

— Я позову врача, Евгений Владимирович.

— Бросьте! Какое у нас сегодня число?

— Девятнадцатое.

— Глупо. Я думал, что двадцать первое. Не обращайтесь внимания — я чепуху несу. Голова трещит...

— Я пойду за врачом, наверно, у вас температура.

— А врач зачем? Я вам сказал — простыл.

Володя просидел еще час. Соколовский вдруг пожаловался:

— Голова просто разрывается. Глупо...

Володя встал:

— Сейчас приведу врача.

— Владимир Андреевич, погодите!.. Только не Шерер. Если уж вам хочется, попросите Горохова. А лучше никого...

Горохов сказал: скорей всего, грипп, видимо у него легко повышается температура, возможно, однако, воспаление легких, с сердцем нехорошо... Сейчас он пришлет Барыкину: нужно впрыскивать пенициллин и камфору. Завтра утром он зайдет.

Володя остался у больного. Ему показалось, что Соколовский уснул.

Евгений Владимирович не спал. Он сердился, что жар мешает сосредоточиться, мысли обгоняли одна другую, сталкивались, приходили и тотчас исчезали. А он хотел подумать над тем, что рассказал Пухов. Значит, снова кто-то вытащил давнюю историю. Сто

раз пришлось объяснять. В итоге все понимают, говорят: «Ясно». А потом опять вылезает Сапунов, или Полищук, или Журавлев, и начинается: «Как, что, почему?» Через месяц или два, когда я совсем изведусь, никакой мединал больше не будет действовать, Журавлев погладит свою трясучую щеку и милостиво изречет: «Ясно». Самое смешное, что мне самому не ясно. Никогда я не пойму, почему мою дочь, внучку старого бородатого помора, зовут Мэри? «Пью за здравие Мэри...» Пушкин тут ни при чем. Это авторство Майи Балабановой. Бедная вздорная женщина, она мечтала играть в теннис под солнцем Флориды, а умерла в черном поселке Боринажа, прислушиваясь к шагам эссовцев. Каких глупостей не делает человек в молодости! Может быть, не только в молодости... Я не могу себе представить Машеньку в дурацком хитоне. Она написала — «сочувствующая». А разве можно сочувствовать подвигу народа, его жертвам, труду? Можно либо самой класть кирпичи, либо промолчать... Журавлев, очевидно, хочет от меня отделаться. Глупо — нужно закончить новую модель. С сигнализацией я справлюсь... Завтра может появиться в газете фельетон, как на Урале. Интересно, что придумает газетчик? Могу подсказать заглавие: «Бельгийский соколик». Нет, теперь не выйдет, Журавлев многого не понимает... Почему он это затеял?.. Должно быть, разозлился, что я выступил на партсобрании. Как же я мог промолчать? Люди изготавливают замечательные станки, а живут в истлевших домах с дырявыми крышами. Где же об этом говорить, если не на партийном собрании? В Архангельске был Никита Черных, старый большевик, он знал Ленина, работал с Иннокентием, он любил говорить: «Партия — это совесть», Журавлев ответит: «Я тоже партийный»... Почему я думаю о Журавлеве? Не стоит... Неужели самое важное — это анкета? Напишу еще раз. А если умру, не напишу. Все уже написано. Что у меня с головой делается? В жизни такого не было... Я был уверен, что сегодня двадцать первое, а оказывается, девятнадцатое. Раньше чем двадцать пятого нельзя пойти к Вере. Значит, еще шесть дней. Долго... А вдруг я действительно очень бо-

лен? Сколько это может продолжаться?.. В прошлый раз Вера рассердилась. Нельзя было говорить про алоэ... Почему, когда мы встречаемся, мы часто сидим и молчим? Кажется, что наши сердца промерзли насквозь... Сегодня было очень холодно, вот я и простыл. Вера меня раз поправила — «простудился»... Нужно было бы выпить перцовки, вспотеть. Врачи всегда усложняют. Вера тоже... Горохов сказал «инфекция». Любовью заразить нельзя. Этого не мог ни Леонардо, ни Пушкин. Я стоял на перроне Казанского вокзала, когда военный сказал девушке, которая его провожала: «Говорят, будто Маяковский застрелился...» Она не знала, кто это Маяковский, но схватила за руку военного: «Ваня, ну зачем ты уезжаешь?..» Голова буквально разрывается. По-моему, Пухов поджег дом, это на него похоже — швыряет окурки куда попало... Огонь-то какой!.. Вдруг сгорит Пухов? А ведь он говорит, что еще не написал ни одной картины. Нужно бы забрать чертежи... Почему Пухов не знает, какими красками писал Леонардо? У Леонардо была большая борода, он был влюблен в Лизу. Есть пруд возле Си-монова монастыря, там утопилась Лиза. Другая... А пруда больше нет — Дворец культуры. Завод хороший, но почему они еще делают легковые старого типа — чересчур громоздкие и жрут горючее без зазрения?.. Огонь, по-моему растет. На лестнице кран...

Соколовский крикнул:

— Тушите, пока не поздно!..

Володя прикрыл лампу куском картона. Соколовский снова замолк. Потом он начал что-то бормотать. Володя расслышал отдельные слова: «Мэри», «алоэ», «суккуленты».

Володя подумал: он и ботаникой увлекается. Рассказывал про какую-то агаву. Что только его не интересует! Ну, не все ли равно, какими красками писал Винчи? Сабуров пишет теми же красками, что я, а получается иначе... Кто эта Мэри? Наверно, его старая любовь. Смешно подумать, что Соколовский когда-то увлекался женщиной... Имя иностранное. Может быть, правда, что он был в Бельгии?.. Я зря ему рассказал, он после этого слег, бредит. В общем, виноват я...

Хотя Володя понимал, что от огорчения нельзя заболеть воспалением легких, ему теперь казалось, что Соколовский свалился оттого, что он рассказал ему гадкую сплетню.

Рано утром снова пришел Горохов, он хмурился, потом сказал:

— Я попрошу на консультацию профессора Байкова.

Из города приехал профессор. Он долго что-то объяснял Горохову. Володя не понимал терминов, только видел, что врачи встревожены. Горохов спросил, не перевезти ли Соколовского в больницу. Профессор покачал головой:

— Лучше его не трогать... Вы сможете оставить здесь сестру?..

Барыкина осталась у Соколовского. Под вечер Володя пришел домой. Соня удивилась его измученному виду:

— Что случилось?

Он не ответил и пошел к себе.

Соколовский пробыл свыше двух суток без сознания. На третье утро он открыл глаза. Ему показалось, что он опоздал на работу, и он протянул руку к столу, куда обычно клал ручные часы. Он опрокинул пузырек с лекарством. Тогда он вспомнил: я болен, приходил Горохов... Он закрыл глаза и начал мучительно вспоминать, что с ним произошло. Пришел Пухов, меня знобило, потом начался пожар... Нет, это, наверно, мне приснилось... Все в голове путалось, почему-то отчетливо вставало одно: я спросил Пухова, какими красками писал Леонардо, а он не знал...

Постепенно он многое припомнил. Пухов рассказал про Журавлева... Соколовский поморщился. Все пересохло во рту и какой-то странный привкус — будто я сосал железо.. Надоела эта история с Бельгией... Я сейчас встану и пойду к Вере. Бывают минуты, когда нельзя быть одному... Не могу понять, который теперь час? Светло. Значит, ее нет дома... Я еще, кажется, болен — глядеть больно, и голова не моя — поднять не могу...

Он застонал. Подошла Барыкина, но он ее не

видел: снова погрузился в горячий, темный водоворот забытья.

Вечером он открыл глаза и вскрикнул: над ним стояла Вера. Она глядела на Соколовского. Никогда еще не видал он ее такой... Он хотел что-то сказать, но не смог, только назвал ее по имени. Она строго сказала:

— Вам нельзя разговаривать.

Она отошла от кровати и шепнула Барыкиной:

— Узнал...

Соколовский лежал с закрытыми глазами и смутно спрашивал себя: приснилось мне, или Вера здесь? Нужно выяснить, это очень важно... Я забыл — ведь она доктор, а я, наверно, болен... Что у меня с головой? Все путается...

Барыкина подошла к больному.

— Снова забылся... Вера Григорьевна, что с вами?..

Она протянула Шерер стакан воды. Но Вера Григорьевна быстро овладела собой и спокойно сказала:

— Нужно впрыснуть камфару. А я сейчас позволю профессору Байкову...

13

Сибирцев еще в ноябре говорил: «В деревне нужны люди, категорически нужны». Говорил он это с двойным чувством: понимал, что в деревне нужны люди работающие, а не лодыри — дело серьезное; но разве Журавлев отпустит хорошего человека? Никогда! Да и как отпустить? Мы теперь поставляем автоматические линии для двух тракторных заводов, станки «Сельмашу», работаем на подъем сельского хозяйства. Правильней всего, думал Сибирцев, не уговаривать никого уезжать, но Журавлев настаивает, чтобы провели кампанию.

Лошаков сказал, что согласен поехать в МТС. Журавлев замахал руками: «Его ни в коем случае нельзя отпустить...» Сибирцев постоял, помялся: «Что же нам делать, Иван Васильевич?» Журавлев ответил, что следует поискать среди новичков (он сказал: «которые еще не вросли в производство, под ногами путаются»); подумав, добавил: «Поговори с Чижовым, он, кстати,

был трактористом». Геннадий Чижов еще год назад числился стахановцем, но спился (отец его тоже страдал запоем). Журавлев не раз собирался его уволить, но откладывал: «Обещает, что больше росинки в рот не возьмет...»

В конце января фотограф областной газеты заснял, как трое молодых парнишек и Чижов подписывали заявления о своем желании уехать в деревню.

Чижову Сибирцев сказал откровенно: «Мой тебе совет — уезжай. У тебя с вином такой перебор, что ничего хорошего не получится. Журавлев давно грозился тебя прогнать, и правильно — разве ты знаешь, что с тобой через час будет?..» Чижов выругался, помолчал, снова выругался и вяло ответил: «А что ты думаешь? Вот возьму и поеду к старикам. Колхоз у нас кстати хороший...»

Осенью в колхоз «Красный путь» вернулся Белкин; он после войны застрял в Литве, работал там в лесничестве. Это был серьезный, хмурый человек, силач, на все он отвечал «еще что надумали», но все хорошо выполнял. Антонина Павловна, узнав о приезде Белкина, просияла.

Она часто вздыхала: рук не хватает. Подумать только, девять тысяч га, почти три тысячи голов крупного скота, птицеферма, сад, пасека большая и всего-навсего сто шестьдесят три трудоспособных! После приезда Белкина она размечталась: может, еще кто приедет?..

Вскоре к ней явился Родионов, сказал: «Племянник Сашуня из Москвы письмо написал — к нам просится, не знаю даже, что ему ответить». Антонина Павловна сказала: «Пиши, чтобы приезжал. Мало у нас народу, вся беда в этом...»

Сашуня, приехав, рассказал, что работал в артели приемщиком, здоровье ослабло, доктор сказал, что требуется свежий воздух, а помещение артели полуподвальное, воняет кожей, комнаты у него вообще не было — снимал угол у частника; одним словом, он решил переключиться.

Сашуня любил похвастать; в первые же три дня он рассказал всем, что возле Дрездена, где стоял его ба-

тальон, овца окотилась шестью ягнятами, они за ней бегали, как цыплята за курицей; в Москве председатель артели угостил его утиным яйцом из Китая, яйцу этому было сто лет, страшновато, но интересно, он съел; пришлось ему участвовать в киносъёмке — возлагал Пушкину цветы, два раза клал тот же букет, первый раз не получилось, а на экране вышло исключительно; в автобусе он познакомился с Лысенко, и Лысенко сказал, что зима очень теплая; Сашуня его спросил, какой будет урожай, он ответил, что в точности сказать нельзя, но надеется, что будет исключительный.

Антонина Павловна забеспокоилась: здоровье, говорит, слабое, да еще болтун. Что с таким делать? Но Сашуня, увидав, что рассказывать ему больше нечего, занялся делом: починил стол в правлении колхоза, почистил хлев для молодняка; выяснилось, что он служил в санбате, умеет столярничать, может водить грузовик. Антонина Павловна сказала Родионову: «За Сашуню вам спасибо. Вот и народу у нас прибавилось...»

Узнав о возвращении Геннадия Чижова, Антонина Павловна, однако, рассердилась: пишут, что едут в деревню, можно сказать, лучшие, а таких пьяниц, как Генька, я отроду не видала. Он, когда летом к своим приезжал, чуть было клуб не спалил. Таких нам не надо...

Геня Чижов приехал трезвый и скучный. Отец, обрадовавшись поводу выпить, выставил две пол-литровки. Геня сразу оживился и начал ругать Журавлева: «Я, может быть, от него и к вину пристрастился, такое он вызывает во мне неслыханное отвращение. Свистун он проклятый, а не директор. Да что тут долго говорить — его собственная жена ему в морду плюнула...» Мать Чижова всплеснула руками: «Да что ты, Геня, говоришь? Это наша-то Лена?» Геня радосно закивал головой: «Вот именно. Я ее девчонкой помню, дядя Паша нас обоих отстегал, когда мы яблоки поснимали. Отец ее мне зверя подарил — свинью с таким рылом, абсолютный портрет Журавлева. Ленка люксом прельстилась — супруга директора, — не иначе. Толь-

ко и она не выдержала, съехала от него, это точно, можете не сомневаться...»

Лена часто думала: нужно написать про все маме,— и всякий раз откладывала, понимала, что огорчит мать. Недавно она отправила Антонине Павловне письмо, сообщала, что все в порядке, Шурочка рисует, много работы, скоро напишет длинное письмо; но о том, что в ее жизни произошли большие перемены, так и не написала.

Чижова наутро пошла к Антонине Павловне и, сладко улыбаясь, доложила:

— Геня-то наш приехал...

Чижова с давних пор недолюбливала Антонину Павловну. чего она командует, как генерал? Я, может быть, лучше ее понимаю.. Если она даже председатель, кто ей дал право меня спрашивать, почему мой муж пьяный валяется? Это — мое горе, нечего ей распрстраняться. Ее муж стада привести не может, летом корову Сабашниковой всю ночь проискали. Лучше бы помолчала. .

Все с той же улыбочкой Чижова спросила Антонину Павловну, получает ли она письма от Лены. Антонина Павловна ответила, что недавно пришло коротенькое письмо

— Работы у Лены много — две смены, и еще ее агитатором назначили — к выборам...

— Геня наш рассказывал, что Лена с мужем разводится, съехала она от Журавлева. Я и хотела спросить: как ей, бедненькой, живется? С девочкой-то трудно одной...

Антонина Павловна показала, что умеет владеть собой: ничего не сказала, только спросила Чижову, что думает делать Геня — на время приехал или хочет работать в колхозе.

Она ни слова не сказала мужу, всю ночь не спала — думала: что с Леной? Конечно, Генька Чижев пьяница и никчемный человек, но не посмел бы он придумать такое... Антонина Павловна вспомнила: ведь Лена говорила, что Журавлев ей кажется менее привлекательным, чем раньше. Наверно, правда — ушла от него. Но как матери не написала?.. Она тихонько

всплакнула, а потом решила: поеду в город, посмотрю, как Лена устроилась. Шурочку возьму — куда же ей одной с девочкой...

Лена была в библиотеке, Вера Григорьевна у больного; дверь Антонине Павловне открыла работница доктора Горохова Настя. Поджимая губы, Антонина Павловна строго спросила:

— Лена у вас проживает?

Шурочка не узнала бабушки; Антонина Павловна напрасно ее звала, девочка стеснялась и пряталась за Настю. Наконец пришла Лена.

— Матери не написала,—повторяла в слезах Антонина Павловна.

Успокоившись немного, она сказала:

— Шурочку я с собой возьму. Хоть до осени, пока не устроишься. Отец обрадуется, хворает он, а все с детишками возится, зверей мастерит... А на каникулы к нам приедешь... Как же ты матери не написала? Я ведь случайно узнала — от Чижовой. Генька к ним приехал. Мало нам старика Чижова... Да ты его помнишь — он тебя пугал, что ты запечатанная, больше расти не будешь. Один день поработает, а потом месяц пьяный валяется. Теперь к нему Генька прибыл — трудовые резервы... Так вот приходит Чижова и выкладывает: «Лена ваша разводится...» Я чуть было у нее на глазах не разревелась...

— Ты меня осуждаешь? — спросила Лена.

— Зачем глупости говоришь? Обидно мне, что матери не написала. А какой я тебе судья?.. Трудно одной, да еще с девочкой... Отец-то к ней ходит?

— Поставил условие, что каждое воскресенье буду ее приводить. Раз привела. Потом передал, что занят. Позавчера я позвонила, спрашиваю, когда привести девочку. Он отвечает, что у него много работы, он pošлет Шурочке шоколад. Наверно, с Хитровым на рыбалку поехал... Мне-то казалось, что он любит Шурочку, я из-за этого мучилась, не могла решиться...

— «Казалось»,—сердито проговорила Антонина Павловна.— Все тебе казалось: и что он работник необыкновенный, и что все понимает, и душа у него настоящая. Я-то помню, как ты про него рассказывала...

У Лены показались на глазах слезы. Антонина Павловна спохватилась:

— Ну, чего ты?.. Ошиблась ты в нем, это и с большими людьми бывает. Я тебя не упрекаю... Нехороший он человек, я сразу почувствовала. Я твоих тайн не знаю, я про другое говорю... Когда у вас гостила, насмотрелась. Грубый он с людьми, не входит в положение. Я его раз спросила, почему в заводском магазине хоть шаром покати, люди должны в город ездить, туда и назад — три часа, кажется, можно бы наладить, а он мне отвечает, что на нем завод, хвастать начал, какие машины делают, врал, будто в магазине все есть, даже сахар... При мне пришел к нему человек, просит, чтобы разрешили на попутном грузовике жену до родильного дома довести, он говорит: «Машины не для этого». Я его потом спросила, неужели ему женщины не жалко, смеется: «Даст пятерку водителю, и все тут, нечего мне голову морочить...» От таких народ и страдает, ему что ни скажи — отмахнется... Когда Чижова мне рассказала, я ночь не спала. Обидно было, что мать от чужих узнает. А за тебя я радовалась: разве можно жить с таким истуканом?..

— А почему, когда я тебе сказала, что мне он уже не так нравится, ты на меня кричать начала?

— Не поняла я тебя, думала — дочка у вас, обрывается... Вот подрастет Шурочка, сама увидишь — нелегко быть матерью, боишься совет дать... Да ты и без моих советов обошлась. Одно не понимаю — почему от матери скрыла?..

После встречи с Коротеевым в театре прошли две недели, а Лена все думала о том разговоре. Почему Коротеев меня пожалел? У него хорошее сердце. А мне от этого только тяжелее. Не будь Шурочки, кажется, не выдержала бы. Никогда я не думала, что такое бывает. В институте девушки рассказывали, что влюблены, ходили в кино, смеялись. Да и мне тогда казалось, что я влюблена в Журавлева. По-детски все было... А теперь это как рана, все время чувствую, и не заживает; нет, еще больше... Вера Григорьевна — необыкновенный человек, она мне помогла. Вылечить, конечно, она не может, от этого нет лекарства, но теперь мне

не стыдно самой себя, она меня уговорила, что глупо стыдиться, нет в этом ничего плохого...

Лена боялась, что мать заметит, в каком она состоянии, и сама над собой смеялась: ну, как это можно заметить? Ведь не написано на мне, что я не могу жить без него... С мамой я говорю, как будто этого нет, да ее такие вещи и не интересуют... А вот Шурочку мне трудно отпустить. Я еще больше к ней привязалась. Не могу себе представить — проснусь утром и не увижу, как она лежит, ножками перебирает и хитро улыбается: «Мама, а ты не спишь — я вижу...»

Антонина Павловна долго говорила с Леной, вспомнила ее детство, вместе поплакали о Сереже. Вечером Антонина Павловна сказала, что завтра уезжает.

— Шурочку я возьму...

— Не знаю, как быть... Мне сейчас будет без нее особенно тяжело...

Антонина Павловна посмотрела на дочь и ничего не сказала.

Они поговорили об отце. Антонина Павловна улыбнулась:

— Он недавно носорога смастерил, похожий — как в книжке... Лена, ты Шурочку хоть до весенних каникул отпусти... Отца порадуешь, он часто хворает и все говорит: «Жалко, внучка далеко»...

— Хорошо, — сказала с грустью Лена. — Но через месяц я за ней приеду. Мама, куда ты торопишься? Останься еще на день.

— Не могу, Лена, весна на носу, работы у нас много. С посевной справимся, этого я не боюсь, а вот с огородами плохо — рук не хватает. Белкин вернулся, это нам большая помощь. Потом к Родионову племянник попросился, хвостун невероятный, но работать умеет. А с Генькой Чижовым мы еще намучаемся. Это Журавлев удружил. Знаешь, что в Журавлеве самое противное? Вот я пойду и скажу: зачем к нам Чижова прислали? Он глазом не моргнет, ответит, что Чижов — герой труда. Ты ему свиной хлев покажи, скажет — дом как дом, жить можно. Пожалуйся, что по дороге проехать нельзя, — ухмыльнется: «Да ведь это шоссе». Надоели они людям, ох, как надоели!.. Помнишь Дашу

Каргину? Сын у нее был Миша, орехи тебе носил, помнишь? Мишу-то убили на войне... Умная женщина Даша, я с ней часто советуюсь. Когда в газете был отчет о Пленуме, она пришла в правление, говорит: «Напечатано, что мало у нас в стране коров, значит будет много — увидишь. Теперь людям доверяют, это — главное дело...» Вот приедешь, Лена, увидишь — у всех настроение приподнялось, на душе повеселело...

Рано утом Антонина Павловна собралась в путь. Лена поехала проводить ее и Шурочку до станции. Шурочка в такси сразу заснула. Лена сидела, задумавшись. Антонина Павловна вдруг сказала:

— Что-то ты от меня тайшь, Лена...

Лена растерялась: неужели на лице написано? Может быть, рассказать?.. Нет, этого мама никогда не поймет. Мысли у нее другие... Да и не могу выговорить, от стыда умру...

— Ничего я не таю. Грустно, что ты уезжаешь...

Антонина Павловна не стала настаивать, и Лена подумала, что успокоила мать; но когда они попрощались, Антонина Павловна шепнула:

— Опять мать последней узнает... Все равно, лишь бы тебе хорошо было, а ума у тебя хватит...

14

Никогда Иван Васильевич не забудет той ночи. А накануне вечером он был в прекрасном настроении. Егоров зря боялся, что из-за болезни Соколовского может произойти задержка. Все в порядке. Коротеев любит придумывать трудности, но и он говорит, что к Первому мая выпустим новую модель. Это — событие в государственном масштабе, обязательно будет в газете, могут и по радио передать...

Он ужинал у себя один, с аппетитом намазывал густо масло на хлеб и поверх клал котлету. Хорошо Груша готовит... Он вдруг улыбнулся: можно ли сравнить автоматическую линию с теми станками, которые завод выпускал, когда меня сюда прислали? Да это все равно, что сравнить довоенные «газики» с «ЗИМами».

Различные станки казались ему этапами его жизни, и он говорил себе: растем, удивительно растем, это бесспорно! Потом он решил: хороший вечер, можно отдохнуть, взял «Огонек». Он прочитал маленький рассказ о том, как директор магазина хотел было жениться на студентке, но ничего из этого не вышло — оба передумали. Зачем такое печатают?.. Не смешно. Интересно, как работал этот директор? Наверно, размазня, ничего у него в магазине не было. Я думаю, что наш Борисенко тоже влюблен. Хитров говорил, что в городе голландские сельди, а у нас попрсжнему только крабы... Жениться, конечно, придется: нельзя же директору завода устраивать романы. Ивану Васильевичу стало смешно от мысли, что он может, как художник Пухов, бегать на свидания и совать фифке букеты. Посмеявшись про себя, он подумал: теперь я на воду буду дуть. Это глупости говорят, что если серьезная, то обязательно уродка. У Хитрова жена немолодая, но видно, что она была эффектная. У Лены нет никакого чувства ответственности, не понимаю: как она может учить детей? Она меня вывела из строя. Мог быть большой ущерб для государства, хорошо, что я не размазня, во-время опомнился... Может быть, послушать радио?

Было без десяти одиннадцать. Иван Васильевич слушал одним ухом. В Чехословакии горняки приняли новое социалистическое обязательство, в Боливии резко сократилась добыча цветных металлов, египетская печать высказывается за расширение торговых связей со всеми государствами. Потом передали сводку погоды. Журавлев по субботам всегда слушал сводку погоды, хотя прогнозам не верил и говорил Хитрову: «Сказали, ясная погода без осадков, значит промокнем мы с тобой, как собаки». Но был понедельник, и погода мало интересовала Ивана Васильевича «В ближайшие двадцать четыре часа на Среднем и Нижнем Поволжье ожидается ясная погода с умеренными морозами и сильными ветрами до десяти баллов». Опять врут. Холодно, это бесспорно, но когда я ехал с завода, никакого ветра не было. Он послушал песни советских композиторов, одна ему понравилась, и он даже подпевал:

Смело мы идем вперед,
И тоска нас не берет...

Потом он громко зевнул, повесил на стул пиджак и начал медленно развязывать шнурки ботинок.

Буря началась за час до рассвета, и была она необыкновенной силы. Напротив дома Журавлева повалило большую березу, дерево упало на сторожку. Иван Васильевич, вскочив, не мог со сна понять, что происходит, ему казалось, будто кто-то ломится в дверь. Он быстро оделся, выбежал на улицу. Ночь была ясная, морозная. Он хотел добраться до завода, идти было трудно, ветер сбивал с ног. Возле больницы он увидел перепуганного Егорова, без шапки, он что-то кричал, нельзя было расслышать, наконец Иван Васильевич понял: повалило третий барак.

Буря росла. Казалось, была в ней слепая страсть, гнев, отчаяние — валит деревья, швыряет по сторонам столбы, стропила, доски, срывает крыши, кружит несчастных людей, будто не люди это, а щепки, подымает с земли сухой едкий снег и с хохотом, с присвистом мечет его в глаза человеку.

Потом люди говорили: «Ну и буря... Никогда такого не было...» Старик Ершов возражал: еще более сильная буря была в день его свадьбы — в 1908 году. Вспоминая страшную ночь, Журавлев суеверно ежился: он не мог понять, что буря пронеслась над несколькими областями, причинила много убытков и что не было в ней ничего сверхъестественного, даже Институт прогнозов ее предсказал. Ивану Васильевичу казалось, что силы природы в союзе с низкими, завистливыми людьми ополчились на него, решили его повалить, вырвать с корнями, как старую березу напротив дома.

Как только он выбежал на улицу, он сразу понял — беда! Он боялся за недостроенный сборочный цех. Встретив Егорова, он подумал: это все на меня!.. Теперь начнутся разговоры, где три корпуса, почему тянули, — словом, жертвой станет Журавлев...

Весь день он работал, как иступленный. Нужно было разместить девять семейств и двух одиночек, которые жили в бараке «Б». Журавлев поехал к секре-

тарю горкома Ушакову, просил его предоставить помещение в городе. Ушаков кричал: «О чем вы прежде думали?..» Иван Васильевич не пробовал оправдываться. «Часть мы устроили в новом сборочном, помогите уж, Степан Алексеевич...» Выяснилось, что буря сорвала крыши с шести домиков. На грузовики клали мебель, сундуки, узлы. Какая-то женщина громко плакала. Фрезеровщик Семенов злобно сказал Журавлеву: «Доигрались?..» Журавлев только махнул рукой. Он поселил у себя мастера Виноградова с женой, с детьми, со старухой тещей. Он заехал к председателю горисполкома: «Дайте три тонны кровельного железа, мы быстро залатаем...» Он звонил по телефону, доставал шифер, утешал женщин, делал, что мог. Но, разговаривая с Ушаковым, или успокаивая тещу Виноградова, или подсчитывая с Сибирцевым, сколько людей можно разместить в общежитии для одиночек, он думал об одном: я-то пропал... Считают, сколько человек осталось без кровли, сколько понесли убытков, сколько потребуется леса и железа, а я, Иван Журавлев,— для статистики единица, я, честный советский человек, всю жизнь отдавший государству, я погиб, буря меня повалила, и никому до этого нет дела...

Шесть дней он провел в томительном ожидании. На седьмой позвонил второй секретарь горкома: «Из Цека передавали... Просят вас приехать, лично изложить...» Журавлев ждал самого плохого и все же настолько растерялся, что уронил трубку телефона; долго раздавались жалобные гудки, он их не слышал. Почему не позвонил Ушаков? Даже разговаривать не хочет... Вообще это катастрофа. Я думал, что запросят из министерства... «Изложить». А что тут излагать? Была буря, кажется, про это все знают... Кончился Журавлев, вот что! Но где же справедливость? разве я команду погодой? Без цеха точного литья мы никогда бы не справились с заданием. Потом это огромная экономия для государства... Сначала утвердили план строительства, два раза поздравляли с перевыполнением, а теперь топят. Почему? Да только потому, что пронеслась буря. Не было бы бури, я к Первому мая получил бы поздравительную телеграмму. Логика

здесь нет никакой. Я не мальчишка, мне скоро тридцать восемь — и от чего я гибну? От погоды.

Он долго гадал, кто успел доложить в Москву насчет задержки с жилстроительством. Скорей всего Соколовский. Все-таки жалко, что я его не угробил. В удобный момент с таким козырем, как семья в Бельгии, я мог бы легко его убрать. Никогда нельзя деликатничать. Теперь он отыгрался... А может быть, и не он — Егоров говорил, что он еще болен. Кто же тогда? Не Сибирцев, этот побоялся бы. Наверно, Ушаков, он ко мне давно приставал с домами. Какое ему дело? За завод отвечаю я. Хочет выйти в люди, показывает усердие. Мне ведь из министерства еще ничего не сообщили... Ясно, что Ушаков. А ему подсказал Соколовский. Как будто нельзя лежа в постели сочинить клевету или позвонить в горком... В общем все равно кто — не они погибают, я...

Он сидел в купе, мрачный, не смотрел в окно, не ответил проводнику, когда тот предложил чаю. Обычно Журавлев любил поезд: он сразу надевал на себя полосатую пижаму, играл с попутчиками в шашки или в домино, со вкусом обгладывал каркас курицы, прихлебывая, пил чай стакан за стаканом, слушал радио, рассказывал о производственных успехах, читал «Крокодил» и громко смеялся: «Здорово прохватили», — словом, наслаждался жизнью. А теперь все ему было тошно. Он считал, что его попутчик, железнодорожник — дурак и болтун; по радио передают дурацкие песенки, голова от них трещит; станции обшарпанные, домишки занесены снегом — глядеть противно; а вообще снега мало — будет плохой урожай; в вагоне-ресторане котлеты сырые, чай воняет селедкой; в купе нестерпимо жарко, а из окна дует.

Ночью железнодорожник уютно похрапывал, а Журавлев на верхней полке все думал и думал о приключившемся. Уже посинели оконные шторы, железнодорожник заворочался, откашлялся, закурил, а Журавлев продолжал думать. И вдруг он понял: все началось с Лены. Несчастливая женщина, начиталась дурацких романов, и растрясла жизнь честного советского работника. Что будет с заводом? Ведь мы обещали к

Первому мая выпустить новую модель. Соколовский— все-таки неплохой конструктор. Коротеев теперь доволен: систему сигнализации Соколовский начисто переделал. Великое дело критика!.. Да, но теперь на заводе нет объединяющего начала. Конечно, Егоров — опытный инженер, стаж у него большой, но он слабохарактерный, потом он сильно сдал после смерти жены. Все лодыри распояшутся... Коротеев — человек с будущим, это бесспорно, но он слишком малод. Не могу себе представить завод без меня! Неслыханно — какая-то девчонка все повалила. Коротеев был трижды прав, когда выступал в клубе, — нельзя вытаскивать из стенки кирпичи, весь дом рухнет. Воспитывают плохо, печатают зачем-то идиотские книжки, начали теперь разговоры про чувства. Вот и результаты... Нужна твердая линия. Никто не скажет, что я жил для себя, моя жизнь — завод. И вот ничего нет, ровно ничего, разметанные балки, битое стекло, мусор — это жизнь Ивана Журавлева.

Железнодорожник предложил Ивану Васильевичу пирожок:

— Домашние, жена напекла...

Журавлев отказался: ничего в рот не лезет. Он злобно подумал: интересно, чему ты радуешься? Сегодня печет пирожки, а завтра разыщет какого-нибудь агронома, и полетишь ты с насыпи. Едет довольный, говорил — вызвали к министру; наверно, рассчитывает на повышение. А вот произойдет крушение, в два счета снимут, это бесспорно. Доверять никому нельзя.

Уезжая, Журавлев сказал Егорову, что пробудет в Москве день или два, — время горячее, ведь к Первому мая обязались выпустить новую модель. Однако прошла неделя, и Журавлев не возвращался. Потом Егоров позвонили из главка, сказали, что назначен новый директор, Голованов, он приедет в середине апреля.

Егоров рассказал о звонке Брайнину, тот обрадовался:

— Я Голованова знаю, я с ним в Свердловске работал, толковый человек и специалист...

— Это хорошо... Я думаю, к Первому маю справимся...

— Обязательно.

Брайнин вдруг вспомнил:

— А что с Журавлевым?

— Ясно, что, — сняли. Мне сказали, что его давно собирались снять, подыскивали нового... Удивительное дело — Соколовский мне еще зимой говорил, что Журавлева снимут. Я тогда подумал, что он шутит. Вы ведь знаете Соколовского — любит подпустить..

Брайнин засмеялся и развернул «Правду»: во Франции нет твердого правительственного большинства, это, так сказать, симптоматично...

Хитрова сказала мужу:

— Тебе будет трудно — к Журавлеву ты привык...

Хитров задумался, потом ответил.

— Ничего не трудно. У меня Журавлев в печенке сидел. Поганый человек, хочет, чтобы все думали, как он. Я ничего не имею против перемены. Наоборот... А вот что за птица Голованов, этого я не знаю. Посмотрим. Хуже, во всяком случае, не будет...

Все интересовались Головановым, и никто не вспоминал про Ивана Васильевича. Только работница Груша каждый день спрашивала, когда же Журавлев приедет за вещами — нужно квартиру прибрать, скоро нового ожидают, а все комнаты завалены...

Так же гудела сирена, так же верещали станки, так же люди работали, шутили, спорили: никто не чувствовал, что нет больше Ивана Васильевича. Пострадавшие от бури поругали бывшего директора и вскоре позабыли о нем. Они с радостью глядели, как на улице Фрунзе начали рыть котлован для первого корпуса; жена Виноградова говорила: «Две комнаты, ванна, кухня, — словом, заживем. Только бы скорее строили...»

Где Журавлев? Что с ним? Ни одна живая душа о нем не помнит. Была буря, причинила много забот и унеслась. Кто же вспоминает отшумевшую бурю? Стоят последние дни зимы. На одной стороне улицы еще мороз (сегодня минус двенадцать), а на другой с сосулек падают громкие капли. Соколовский в пер-

вый раз встал с кровати, дошел до мутного, неумытого окна, поглядел на серый, рыхлый снег и подумал: а до весны уж рукой подать...

Конечно, Соня и раньше не раз думала о своем будущем, представляла себе завод, на котором придется работать, гадала — выйдет ли из нее что-либо, — но тогда это были раздумья, мечты. Когда же ей сказали, что ее направляют в Пензу, она поняла: кончена моя молодость. Подруги, профессора, экзамены, ссоры с Савченко — все это в прошлом. Впереди незнакомый город, завод, огромная ответственность. Конечно, дипломную работу хвалили, но ведь это школьные упражнения. А какой я окажусь на деле? Могу растеряться, наглупить. В прошлом году на практике я поняла, до чего все трудно...

Соня сказала отцу: «Боюсь, что не справлюсь...» Андрей Иванович старался ее приободрить: всегда так бывает, кажется, не одолеешь, пока не втянешься. Он вспоминал Пензу, где проработал год четверть века назад: город хороший, много садов, большие традиции: «Знаешь, Соня, в Пензе Салтыков-Щедрин жил, недалеко Тарханы — лермонтовские места...» Соня улыбалась, и ей становилось еще страшнее. Не все ли равно, где жил Лермонтов? Стихи его, конечно, хватают за сердце, хотя мы теперь переживаем все иначе... Отец, может быть, думает, что я собираюсь мечтать в городском парке? Завод — вот что меня интересует: как я покажу себя на работе?

Она еще жила в родительском доме, еще ждала — придет ли, наконец, Савченко (он даже не знает, куда меня направили!), — она еще была в знакомом мире, но все ее мысли были далеко — в чужой, загадочной Пензе.

Соня должна была уехать в конце февраля, но вышла задержка: хотели вместо нее послать Борисова, а Соню отправить на «Сельмаш». Теперь ей сказали, что она может ехать. Андрей Иванович предложил:

— Давай отпразднуем...

Соня отказалась:

— Рано... Вот когда поработаю и приеду в отпуск, дело другое...

Надежда Егоровна вздыхала: как там будет Соне? Не хочется ей уезжать. Я убеждена, что она неравнодушна к Савченко, только скрывает. Он хороший мальчик. Поженились бы они, а то отсылают ее, она молоденькая... Да и Савченко мальчик, ему легко вскружить голову. Мне было бы спокойнее на душе, если бы они наконец договорились...

За несколько дней до отъезда Сони Надежда Егоровна не выдержала:

— Соня, почему Савченко не приходит? Вы не поссорились?

— Зачем мне с ним ссориться? Просто у него много работы.

— А он знает, что ты уезжаешь?

— Конечно. Я его недавно встретила на улице. Он говорил, что хотел к нам зайти, проведать отца, но у него очень много работы.

Соня покраснела: как я научилась врать! Подумать, что я не видела Савченко с того вечера... Он даже не поинтересовался, куда меня направили. Не любит. Просто мне померещилось... Но маме я ни за что не скажу. Да это и не ее дело. И Соня добавила:

— Почему ты всегда о нем спрашиваешь? Я с тобой согласна, что он симпатичный, но он не моего романа. Это неприятно, когда за тобой ухаживает человек, который тебе не нравится...

Андрей Иванович пережил очень дурную ночь, такого с ним еще не бывало. Он чувствовал, что умирает; в мыслях простился с близкими, сидел на кровати, вглядываясь в смутное пятно окна, и в невыносимой тоске думал: бедная Надя! Теперь и Сони не будет, как она выдержит одна?.. Он ее не разбудил и утром ничего не сказал, только пролежал полдня, с трудом встал и снова лег: так и не удалось пойти к Сереже, а он ему обещал...

Андрей Иванович вдруг посмотрел на себя со стороны и задумался. Может быть, Соня резонно надо мной смеется? Смешно — напрягаю все силы, чтобы пойти к Сереже. Уж очень маленький мир получается...

Но что тут поделаешь, человеку нужно бороться, без этого и жить нельзя. Молодым был, боролся плечо к плечу со всеми. Не только когда была революция, раньше... Да и позже — на работе. С самим собой, этого никто не знает. Были ведь и большие удары, и горе, и сомнения, боролся, чтобы сохранить веру в людей. И теперь борюсь: когда говорю с тем же Сережей, стараюсь ему передать немного опыта, чувства, мысли. Борюсь со смертью. Она ходит вокруг, поджидает. Ночью, когда темно, тихо, она хочет осилить. Борюсь, пока могу. К старости человек усыхает, сжимается, умом он видит шире, а мир становится узким, тесным. Я стараюсь думать о жизни других, вырваться из этой комнаты, где каждую ночь приходится бороться один на один со смертью. Но и здесь я делаю то, что делал всю жизнь. Соне это рано знать и ни к чему.

За последние недели Андрей Иванович изменился к Володе. Прежде он возмущался словами сына, теперь, глядя в его насмешливые глаза, думал: жалко его. И ум у него есть, и способности, не злой человек, а чего-то ему не хватает, бродит по жизни, как взрослый беспризорник. Андрей Иванович знал, что не в его власти переубедить сына, не спорил с ним, не отвечал на его невеселые шутки, но невзначай, одним словом, порой и без слов, пытался передать ему свою нежность. Володя это чувствовал и скрывал, что растроган.

С Соней у Андрея Ивановича был еще один длинный разговор после того, как она ему призналась, что боится не справиться с работой. Правда, и в этом разговоре были минуты, когда они друг друга переставали понимать. Соня вдруг прервала отца: «Почему ты все время говоришь о людях? Людей я не боюсь. Даже если там во главе какой-нибудь Журавлев, это не самое страшное. А вот как я перейду от учебников к машинам? Все дело в этом...» Андрей Иванович растерялся. Но сейчас же между ними снова установился тот душевный контакт, которому они оба радовались. Может быть, им помогло сознание, что они через несколько дней расстанутся (каждый из них с горечью думал: увидимся ли?..).

После этого разговора Андрей Иванович решил, что деловитость и сухость Сони напускные, под ними сердце девушки, гордое, горячее и робкое.

Накануне отъезда Соня сидела у себя в прибранной комнате, казавшейся пустой: она сожгла школьные дневники, письма студенческих подруг, записки Савченко, выбросила множество мелочей, связанных с разными событиями ее жизни, которые еще недавно казались ей дорогими. В доме было тихо — Надежда Егоровна ушла в магазин, Володя теперь редко бывал дома — расписывал фойе в клубе пищевиков. Соня прислушалась: кто это у отца? Горохов? Нет, другой голос...

Незнакомый голос:

— Андрей Иванович, вы поймите, когда она это сказала, мне стало так страшно, что я подумал — жить не смогу. Потом над собой смеялся, все нормально, другие интересы, — одним словом, был миф и нет мифа. И вдруг снова все поднялось, ни от чего, само собой...

Отец:

— У меня так не раз бывало. Говорят, что человек легко забывает. Неправда, забывает то, что должен забыть, а настоящее остается — до конца, я уже могу сказать — до самой смерти.

Соня, заинтересованная, заглянула в приоткрытую дверь. Она увидела подростка, рыженького и веснушчатого, в больших очках. Андрей Иванович ее заметил:

— Это ты, Соня? Познакомьтесь. Сережа — мой юный друг. А это — моя дочь, инженер-механик.

Соня ушла к себе. Все-таки отец — странный человек. Разговаривает с каким-то мальчуганом, как со взрослым. Комическая сцена... Он, кажется, со мной никогда так не говорил. Я была уверена, что это его старый приятель. Потом она задумалась. Может быть, он прав? Этот мальчишка глядел на него прямо-таки с обожанием. Отец говорил, когда мы с ним поспорили, что он хочет себя передать другим. С Володей это вообще трудно. А я всегда делаю вид, что меня незачем учить: у меня своя точка зрения. Вот он и приручил мальчишек... Прежде я часто приходила к отцу,

спрашивала, как быть. Но не могу же я его спросить, что мне делать с Савченко. Во-первых, позорно; во-вторых, никто не может посоветовать. Впрочем, теперь все это устарело: я уезжаю, а Савченко меня не любит. Вопрос ликвидирован. Я даже сожгла фото, где мы снялись вместе. Хочу начать новую жизнь — без хвостов и без захламленности.

Андрея Ивановича на вокзал не взяли: Соня решительно воспротивилась — далеко, холодно, он разволнуется. Провожали Соню Надежда Егоровна и Володя. Соня боялась опоздать, и они приехали за час.

Соня сейчас чувствует себя бодрой, ей кажется, что она придумывала трудности, знания у нее есть, характер тоже — справится.

В зале для ожидания душно. Кричит грудной ребенок. Володя печально острит. Надежда Егоровна, чтобы скрыть свое волнение, почему-то, не замолкая, говорит о пирожках: хотела испечь Соне на дорогу, и такое несчастье — тесто не поднялось...

«Производится посадка на поезд номер 176, следующий по маршруту Ртищево — Кирсанов — Тамбов».

— На Ртищево — это мой.

Они идут на перрон. Что с Соней? Она остановилась, и лицо у нее испуганное. Навстречу идет Савченко. Надежда Егоровна радостно восклицает:

— Вот хорошо, что пришли проводить!..

Соня молчит. Володя берет мать под руку:

— Пойдем, мама, посмотрим состав...

Соня теперь вдвоем с Савченко:

— Откуда ты узнал, что я уезжаю?

— Твой брат сказал.

— Ну, а почему не приходил?

— Думал, что не хочешь. А ты разве хотела, чтобы я пришел?

— Я тебе этого не сказала. Но вообще нехорошо, что не пришел.

— Ты тогда так разговаривала. Я решил, что ты не хочешь, чтобы приходил.

— А тебе самому хотелось?

— Зачем ты спрашиваешь? Тогда, у ворот..

— Не будем в последнюю минуту ссориться. Я думала, что ты понял... Почему ты тогда не зашел?

— Ты сказала — пить чай со всеми.

— А ты считаешь, что я всегда говорю, что думаю?

— Соня, когда ты приедешь в отпуск?

— Ты с ума сошел! Какой же отпуск, когда я только еду на работу?

— Знаешь что — я в прошлом году не брал отпуска. Я приеду в Пензу.

— Ни в коем случае!.. А когда ты хочешь взять отпуск?

— Скоро. Так ты, значит, запрещаешь?

— Что ты будешь делать в Пензе? Если не работать, там скука, это не Кавказ.

— Я ведь к тебе приеду, а не просто в город...

Подошли Надежда Егоровна и Володя. Надежда Егоровна сказала, что состав очень длинный, и, посмотрев на Соню, предложила Володе:

— Пойдем еще походим — холодно стоять.

Савченко робко спрашивает:

— Соня, а ты меня не забудешь?

— Забывают то, что не важно, главное всегда остается.

— А ты это считаешь главным?

— Откуда я знаю. Я еще не проверила. Может быть, забуду.

— А как тебе сейчас кажется?..

Соня смотрит на него, ее глаза темнеют. Хорошо, что вокруг много людей, — не то бы первая поцеловала...

Володя говорит:

— Соня, ты не слыхала? Проводник зовет в вагон...

Она обнимает мать, потом Володю. Савченко ждет, что она ему скажет. Она протягивает ему руку, глаза ее блестят.

— Я тебе напишу... Ты слышишь, мама? Как только приеду... Поцелуй отца!

Савченко едет в автобусе на завод. Он взволнован: ничего не понимаю! Так она и не ответила. Я даже не знаю, как считать — поссорились мы с ней или нет?

Я думал, что она обещает написать, оказалось — матери. Нет, она меня не хочет. Когда я сказал, что приеду в Пензу, закричала «ни в коем случае». А смотрела так, что я еле сдержался, чтобы не поцеловать. Я теперь о ней очень много думаю. Романтизм, как говорит Коротеев. Ему легко говорить — он старый, ну, не старый, пожилой — ему, наверное, под сорок, в таком возрасте люди перестают об этом думать. А я о Соне все время думаю. Вот что удивительно — я должен был бы впасть в мрак, потому что у нас с ней ничего не выходит, а мне почему-то весело. С вокзала обыкновенно возвращаешься печальный, если проводил близкого. А мне и сейчас весело. Но я ее люблю, это я знаю. Тогда почему мне весело? Причин много. Коротеев сказал, что из меня выйдет толк. Это очень важно. Наш завод замечательный! Я люблю представлять себе все, как в раскладной книге: сначала автоматическая линия, это просто — вижу каждый день; потом другой завод, там наши станки и там делают тракторы; значит, можно себе представить огромный трактор, он вырывается в степь, а после этого пшеница, очень много пшеницы, страна богатеет, крепнет, и тогда коммунизм... Конечно, мне весело, потому что я работаю на таком заводе. Не только поэтому. Есть «Гамлет», есть вообще чудесные вещи. Потом, это последние дни зимы, скоро весна, а весной всем весело. Ну, и Соня... Любит она меня или нет, я не знаю, но она существует, только что я с ней разговаривал, это уже неслыханно много. Может быть, она мне напишет? Тогда я поеду в Пензу. А если не напишет, ни за что не поеду, вообще не возьму отпуска... Сейчас я скажу Коротееву, что со сваркой больше сюрпризов не будет, вчера весь день проверяли... У меня, наверно, взбудораженный вид, Коротеев может заметить... Нужно привести себя в порядок.

Перед тем, как войти в комнату, где работал Коротеев, Савченко посмотрел на себя в зеркальце и причесал свои жесткие волосы. Глаза какие-то странные, лезут вперед... Это потому, что я думал о Соне. Сейчас буду думать о сварке, и глаза станут на место.

Соня долго стояла в коридоре. Она еще жила тем,

что только что оставила. Сказал, что приедет... Если это серьезно, пусть приезжает. Отец правильно говорил: забываешь то, что нужно забыть. Может быть, Савченко через месяц меня забудет. Я должна ему написать, что если он действительно собирается приехать, то не раньше лета. Но если я ему напишу, он приедет. Лучше ничего не решать — все решится само собой... А снег уже серый, да и пора — скоро апрель... Я думаю, что в Пензе все будет хорошо...

Она вошла в купе. Полный человек в рыжей куртке рассказывал военному врачу:

— У нас в цеху вентиляция замечательная...

Соня подумала: может быть, он работает на том заводе, куда я еду? Тогда мне повезло — уже сегодня узнаю все. Интересно, какие там станки?... Нет, это часовая фабрика, не то... Ужасные папиросы он курит, дышать нечем... Все-таки хорошо, что Савченко пришел на вокзал... Странно — три часа дня, а мне хочется спать, ночью не спала — волновалась... В Ртищеве пересадка, но Ртищево не скоро....

Соня задремала, чуть наклонив голову в сторону; лицо у нее было спокойное, счастливое. Человек в куртке теперь рассказывал, как они хотели устроить душ, но не устроили — урезали лимиты. Вдруг он замолк — залюбовался Соней.

Длинный поезд медленно, деловито пыхтел среди бескрайних полей, прикрытых слабым предвесенним снегом.

16

Соколовский посмотрел на часы. Четыре... Вставать еще рано.

Вот уже неделя, как он поправился и работает. Но после болезни нервы сдали, спит он еще меньше прежнего, никакие снотворные не действуют.

Он еще лежал с высокой температурой, когда отчетливо вспомнил рассказ Пухова о том, что Журавлев хочет его погубить. Евгений Владимирович не удивился, не вознегодовал, подумал: опять, — и тоскливо зевнул. Он сам был озадачен своим спокойствием: ведь

все-таки со стороны Журавлева это возмутительно. Мы шесть лет вместе проработали... Ну и что же?.. Значит, ему зачем-то понадобилось. Удивить меня трудно: как сказала бы Вера, выработался иммунитет...

Когда Володя сообщил, что Журавлева сняли, Соколовский спокойно заметил: «Вот как... Что ж, этого следовало ожидать». Володя не спросил, почему Евгений Владимирович так думает: он давно понял, что Соколовский, несмотря на все его колкости, наивен, как отец: они оба верят в справедливость...

Две недели Соколовский пролежал. Каждое утро приходила Вера Григорьевна. С вечера он начинал волноваться: ждал ее. Но она в один из первых дней сказала: «Евгений Владимирович, вам нельзя говорить...» Ни разу после этого Соколовский не решился с ней заговорить о том, что было у него на сердце. Несколько раз заходил Володя, хотел развлечь больного, болтал о пустяках. Соколовский как-то заговорил с ним об испанской живописи. Володя усмехнулся: «Я писал белых кур, а теперь изображаю жизнерадостную гражданку, которая держит в руке шоколадный набор, конечно самый дорогой. Чрезвычайно важно, чтобы были переданы все сорта конфет. А вы хотите, чтобы я думал о Гойе...»

Сутки были длинными — без работы, без сна, без людей, и Соколовский мог думать о многом: о своей молодости, о системе сигнализации, о погибших друзьях, о Мэри, о новых методах сварки, о Журавлеве, о жизни на других планетах, об операциях Филатова, о пробуждении Азии, о борьбе за мир. О чем бы он ни думал, его мысли неустанно возвращались к Вере. Он помнил, как в жару, очнувшись на минуту, увидел ее глаза. Необыкновенным был взгляд тех глаз, и никакие слова Веры Григорьевны уже не могли отрезвить Соколовского. Иногда он спрашивал себя: может быть, мне почудилось? У меня был сильный жар... Может быть, Веры и не было, а она пришла потом, когда я уже видел, понимал, слышал ее обычный деловой голос? Нет, не могло такое померещиться: это были ее глаза, их трепет, их свет.

Половина пятого. Соколовского охватывает волне-

ние: сегодня я пойду к Вере. В первый раз после болезни... Поблагодарю за то, что лечила. Она, конечно, спросит, как я себя чувствую, попробует на несколько минут остаться в роли врача. Потом она замолчит, и я буду молчать. Нет, нельзя молчать, это хуже всего, нужно непрерывно какими-то словами заполнять комнату. Я ей расскажу, как Фомка разорвал штаны Пухова. Художник теперь изображает шоколадный набор. Кстати или вовсе некстати, начну говорить о китайской скульптуре эпохи Тан. Может быть, и Вера что-нибудь расскажет... Она говорила, что у нее теперь живет бывшая жена Журавлева. Ее зовут Елена Владимировна или Елена Борисовна, не помню. Может быть, Елена Владимировна, нет, кажется, Борисовна, будет присутствовать при нашем разговоре. Тогда все окажется проще: обыкновенный разговор за чаем. Потом Веру позовут к больному. Или не позовут, все равно, встану, распрощаюсь. Ждать нечего... Но почему она на меня так смотрела, когда я очнулся? Этого не вычеркнуть... Да и нужны ли нам слова, объяснения, бурные сцены? Вечером исчезают яркие краски, все может показаться приглушенным, даже тусклым. Но какие звезды! Какая тишина! Голова от нее кружится...

Пять часов. Евгений Владимирович встал. Потягиваясь, к нему ползет Фомка, утром он всегда приветствует Соколовского. Он не умеет ласкаться, как другие добропорядочные псы, не кидается с радостным лаем, не виляет обрубок хвоста, только прижимается к ногам Евгения Владимировича и глядит на него глазами, полными страха, любви, горечи.

— Что, бедняга, — спрашивает его Соколовский, — наверно, приснился дурной сон? Били тебя во сне?..

Фомка не сводит глаз с Соколовского: глаза печальные, совсем человеческие. Хочет, бедняга, что-то рассказать, слов у него нет. Наверно, его здорово лупили. Больше года у меня, а все дурит: бдителен до сумасшествия. Хорошо, что я во-время его схватил, когда он кинулся на Барыкину... Пухов говорит, что его нужно отдать, не то у меня будут неприятности. А куда я его отдам? Его, беднягу, сразу пристрелят. Он мне

доверяет, вот как смотрит... Я-то понимаю, что его жизнь исковеркала, а это не всякий поймет...

Шесть часов. Соколовский уже побрился; вывел Фомку. Он смотрит, не принесли ли газету? Из ящика выпадает длинный узкий конверт: письмо от Мэри.

«Дорогой отец!

Можешь меня поздравить, у меня большие личные перемены. В Париже мне не повезло, там слишком много разных новинок, трудно собрать публику, я хотела устроить вечер пластических танцев, залезла в долги и осенью вернулась в Брюссель. Здесь мне устроили вечер. Мой муж — Феликс Ванденвельде, художественный критик, он написал о моих танцах в вечерней газете, мы познакомились, и я приняла его предложение. Конечно, он не может жить на то, что пишет, ему приходится сидеть весь день в банке, но он тонкий человек, и мы друг друга великолепно понимаем. Недавно он сказал мне, что одна большая газета, может быть, пошлет его в Москву, чтобы описать московские театры и осветить возможность торговых связей между Востоком и Западом. Конечно, это далеко не решено, но я теперь мечтаю, что поеду с ним, это даст мне возможность увидеть тебя и показать москвичам пластические танцы. Феликс далеко не коммунист, но он кристально чистый человек и прислушивается к тому, что я говорю, а я никогда не забываю, что родилась в России. Конечно, у меня, наверно, другие идеи, чем у тебя, но в общем я сочувствующая. Я не совсем понимаю, как вы там живете, но если приеду с Феликсом, сразу пойму, я ведь знаю язык, это главное. Итак, если не будет новых дипломатических трений и газета не передумает, мы, может быть, скоро увидимся.

Твоя дочь *Мэри Ванденвельде*».

Соколовский вертит лиловый листок в руке, с удивлением смотрит на фотографию. Что-то в ней от матери...

Половина седьмого. На завод идти рано. Он раскрывает книгу: жизнь Бенвенуто Челлини. Неожиданно для себя садится к столу и пишет:

«Дорогая Мэри!

Я тебя поздравляю. Если ты приедешь в Москву, постараюсь тебя повидать. Никак не могу себе представить: какая ты? На старой, студенческой карточке что-то узнаю, а ту, что в хитоне, не понимаю. Не понимаю и твоего письма. Ты слишком легко говоришь о больших вещах. Понятно, что тебе хочется повидать Москву. С твоими танцами вряд ли что-нибудь получится: балет у нас хороший, да ты, наверно, об этом слыхала. Конечно, тебе и твоему мужу, если он честный человек, будет интересно увидеть другой мир. Но не думай, что ты легко его поймешь оттого, что родилась в Москве. Я помню, как ты играла в песочек на Гоголевском бульваре, у тебя были маленькие товарищи. Они понимают, как мы живем и зачем: здесь росли, здесь работали, было у них много и горя, и радости, и надежд. Ты не виновата, что твоя мать увезла тебя в Бельгию, но будь серьезной, пойми, что у нас ты будешь себя чувствовать туристкой, иностранкой. Ты сама пишешь, что не понимаешь, как мы живем. Если бы ты побывала здесь, поглядела, как я работаю, как работают мои товарищи, что нас возмущает, что радует, ты все равно ничего бы не поняла. Мир другой, совсем другой! Почему все началось у нас, а скажем, не в Брюсселе? Вероятно, у нас было меньше хлеба и больше сердца. Все это сложно связано с длинной и трудной жизнью. Подумай как-нибудь над этим. Иногда я забываю про хитон, про твои письма и думаю — вот моя дочь, зову тебя Машенькой. В жизни бывают чудеса, и, может быть, под шелухой скрыто...»

Соколовский кладет перо и удивленно смотрит на большой лист, густо исписанный. Я совсем спятил!.. Ну, кому я это пишу и зачем?.. Разве я могу ей что-то объяснить? Да и не нужны ей мои уроки. Пусть мирно живет со своим Феликсом, если он действительно честный человек и в банке сидит по нужде, а не спекулирует... Пошлю телеграмму, поздравлю, и все

Он порвал на клочки недописанное письмо.

Час спустя он обсуждал с Брайниным, какие улуч-

шения можно внести в его проект. Он больше не думал ни о Мэри, ни о пропасти, лежащей между двумя мирами. Перед ним была модель станка, сконструированная Брайниным. Есть кое-что ценное, но есть и слабые места. У Брайнина не хватает фантазии: этот клапан лишний, достался по наследству от старого образца... Соколовский увлекся любимым делом и ни о чем больше не помнил.

В восемь часов вечера он пошел к Вере Григорьевне. Он боялся, что застанет Елену Борисовну, нет, кажется, Елену Владимировну. Но Лены не было. Соколовскому показалось, что Вера Григорьевна недовольна его приходом, сухо его встретила.

— Может быть, я вам помешал?

— Нет.

Евгений Владимирович не знает, о чем говорить, вот просто нет темы и сейчас не придумать. Уж лучше была бы здесь эта Елена Владимировна... Прежде, когда я приходил, мы все-таки разговаривали, иногда бывали паузы, но разговаривали, а сейчас не получается. Что-то изменилось.. Вера тоже это чувствует. Сколько же можно сидеть молча?

Соколовский пробует начать разговор:

— Когда я болел, ко мне приходил художник Пухов. В последний раз мы говорили о Гойе. У него есть две картины — «Молодость» и «Старость». Смерть выметает метлой засидевшихся, как дворник... Да, так Пухов мне сказал, что он теперь рисует шоколадные конфеты. Человек совершенно сбился с толку. По существу, мальчишка... Простите, я сбился, я хотел рассказать, что спросил его о Леонардо...

Он не кончает фразы — глупо. Вообще не так уж интересно, какими красками писал Леонардо... Вера рассердится, скажет, что устала. Лучше молчать.

Вера поправила скатертку на столе, переставила лампу, опустила штору, снова подняла ее. Она решает занять гостя:

— Я сегодня была у старого Пухова, у него был один из его учеников, интересный мальчуган, увлекается анатомией, хочет пойти на медицинский факультет...

Вы не устали, Евгений Владимирович? Вам после такой болезни не следует переутомляться...

Он не отвечает.

В соседней комнате бьют часы. Девять.

Соколовский вдруг встает и глухо, еле слышно говорит:

— Вера Григорьевна, вы тогда не поняли, почему я рассказал про алоэ... Когда я лежал больной...

Она поспешно его прерывает:

— Не нужно! Не говорите...

Они снова молчат. Вера Григорьевна отвернулась, и Соколовский не видит ее глаз. А все время он думает о том, как она на него глядела, когда он лежал в жару.

У нее не хватает голоса, она едва выговаривает:

— Евгений Владимирович, мы не дети... Зачем об этом говорить?..

Звонок: доктора просят к мальчику Кудрявцевой.

Вера Григорьевна поспешно надевает пальто, повязывает платком голову. Он знает: они расстанутся на много дней. Он уныло говорит:

— До свидания, Вера Григорьевна.

Она смущенно качает головой:

— Евгений Владимирович, подождите меня. Я скоро вернусь...

Она улыбается. У нее теперь лицо очень молодое и растерянное. Если бы сейчас Лена ее увидела, она подумала бы: я, кажется, старше... Но Лены нет. В прихожей темно, и Соколовский ничего не видит — ни улыбки, ни глаз, но ему кажется, что Вера смотрит на него так, как смотрела в ту ночь...

Он терпеливо ждет ее, стоя у окна.

А за окном волнение. Зима наконец-то дрогнула. На мостовой снег растаял, все течет. Только вон там, в палисаднике, еще немного снега. Форточка открыта, а не чувствуется. Жалко, что окно замазано, нельзя открыть. Сквозь форточку доносятся голоса.

Все сразу стало живым и громким.

Смешно, сейчас Вера придет, а я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу: «Вера, вот и оттепель...»

Меньше всего Танечка ждала Володю. Он ведь не был у нее с января. Два раза они случайно встретились на улице, он говорил, что киснет, что, может быть, как-нибудь зайдет, но в общем встречаться не стоит — они только расстроят друг друга. Танечка поняла, что с Володей все кончено, немного поплакала; потом решила, что он прав, лучше во-время порвать, чем тянуть.

И вот он явился ни с того, ни с сего. Ей стало обидно:

— Не думай меня растрогать. Ты сам говорил, что нужно кончать. Я с тобой вполне согласна. Глупо возвращаться к тому, чего уж нет...

Володя печально улыбнулся:

— Я и не собираюсь тебя уговаривать... Просто настроение у меня противное, а на дворе весна. Я шел мимо твоего дома и подумал, может быть, ты тоже скучаешь, решил предложить тебе пойти погулять. Можем пойти в городской сад...

Володя угадал: Таня тоже была в дурном настроении; да и ничего веселого в ее жизни не было. После того, как она перестала встречаться с Володей, за ней начал ухаживать актер Грифцов. Он ей не нравился — бездарный, завистливый, и руки у него всегда потные; она ему прямо сказала, чтобы он не рассчитывал. Когда у нее свободный вечер, она сидит одна, что-то шьет, или читает Диккенса, или лежит и плачет в подушку. В театре одни неудачи. Офелию она сыграла отвратительно; правда, хлопали, но она знает, что хуже трудно сыграть. Потом она играла в советской пьесе лаборантку, которая разоблачает профессора, повинного в низкопоклонстве. Роль ужасная — ни одного живого слова; когда она произносила монолог, бичующий профессора, в зале смеялись, а Танечке хотелось плакать: почему я должна ломаться и выкрикивать глупости?.. Скоро лето. Кашинцева поедет в отпуск к матери. Данилова собирается в Ялту — у нее роман с каким-то геологом. Танечка думает о лете с тоской. В июле мы играем в районах. Август — отпуск. Поеду, наверное,

в Зеленино, туда путевка мне по карману. Все вижу заранее: разговоры о том, что паровые котлеты хороши для диетиков; будем собирать червивые грибы; кто-нибудь напьется и устроит скандал, все начнут это пережевывать; вечером кроссворд в «Огоньке», и двадцать человек мучаются — какой может быть минерал из семи букв на «б»...

Она ответила Володе:

— Хорошо, пойдем... Что, по-твоему, надеть — пальто или плащ?

— Плащ. Тебе он больше идет, и потом совсем тепло. Ты разве сегодня не выходила?

— Выходила, но не помню, не обратила внимания...

На улице было светло и весело. Блестел мокрый тротуар. В киоске еще стояли вылинявшие бумажные цветы, но между ними сверкали обрызганные водой букетики фиалок. Танечка, однако, шла грустная. Ей казалось, что Володя позвал ее только для того, чтобы обидеть. Ему хочется показать: стоит меня поманить, как я все забуду... Вот уж не так! Может быть, у меня и были к нему какие-нибудь чувства, но все это давно прошло.

Ей хотелось сказать ему что-нибудь злое.

— Мы с тобой давно не видались. Как ты живешь? Или, если говорить твоим языком, хорошо ли зарабатываешь?

— Скорее плохо. Мне не повезло. Я сделал портрет передовика индустрии Журавлева, а его сняли. Говорят, он теперь заведует артелью, которая изготавливает канцелярские скрепки. За портрет не дадут и десяти рублей.

— Ты очень опечален?

— В общем нет. Это хорошо, что Журавлева сняли.

— Но все-таки что ты делаешь?

— Сдал недавно панно для клуба пиццевиков. Надеюсь получить что-нибудь в том же духе...

— Значит, халтуришь, как раньше. А что делает Сабуров?

— Живопись. Я позавчера у него был. Оказывается, к нему приходили из союза, сказали, что возьмут две его вещи для выставки. Он говорит, что отобрали

самые скверные. Но все-таки это хороший признак, я за него радуюсь...

— Странно. Ты мне доказывал, что он шизофреник.

Володя не ответил.

Перед ними шла парочка; даже по спинам видно было, что это влюбленные, которые ведут бурный разговор. Володя усмехнулся:

— Мы с тобой идем, как старики, отпраздновавшие золотую свадьбу.

— Не нахожу. Мне лично нечего особенно вспомнить.

— А я кое-что вспоминаю... В общем это неважно. Сабуров написал новый портрет своей хромоножки — в розовой блузке...

— Тебе не понравилось?

— Нет, очень понравилось. Но такой не возьмут на выставку.

— И что из этого следует?

— Ровно ничего. Или, если хочешь, следует, что я халтурщик. Но это не ново.

— Ты мне доказывал, что все халтурят. Почему же у тебя такой минорный тон?

— Не знаю.

— Странно, что ты не остришь. Я тебя не узнаю.

— Я часто сам себя не узнаю. Прежде отец мне говорил, что я сбился с дороги, иду не туда. Я тоже думал, что иду не туда. Оказалось, что я вообще никуда не иду. Впрочем, это неинтересный предмет для разговора, особенно в такой хороший день... Говорят, ты играла Офелию.

— Да, и отвратительно.

— Савченко был в восторге, он говорил, что ты была трогательной, именно такой он представлял себе Офелию.

— Наверно, его легко привести в восторг, потому что я играла действительно отвратительно, вот бывает так — не могла войти в роль... Ты прежде говорил, что все это неважно, смеялся надо мной... Ну, а как ты теперь думаешь: есть все-таки искусство?

— Я об этом не думал. Я думал главным образом о том, что меня в искусстве нет, это, к сожалению, факт. Или мне не дали ни на копейку таланта, или дали на пятак, а я его проиграл в первой подворотне. Но зачем об этом говорить?.. Посмотри лучше на наших влюбленных — они уже успели поссориться, она убежала на ту сторону, он пошел за ней, и теперь они снова перед нами.

— Ты хочешь сказать, что победил он?

— Нет, но на этой стороне солнце. Соня и Савченко тоже так ссорились и помирились — все время...

— Она выходит за него замуж?

— Нет, она уехала в Пензу. Наверно, будут ссориться и мириться в письмах. Отец без нее очень скучает...

— Как здоровье твоего отца?

— Последние два дня немного лучше. Но врачи настроены мрачно. По-моему, он держится только силой воли — отвоевывает день за днем.

— У тебя замечательный отец, ты это знаешь?..

— Я все знаю, Танечка. Даже то, о чем никогда не скажу...

У него был такой печальный голос, что Танечка смутилась. Нехорошо, что я его все время задеваю! Он на себя не похож, не ломается, не изрекает афоризмов. Наверно, ему очень плохо. Как мне...

— Володя, не нужно падать духом. Я тоже часто бываю в таком состоянии. Руки опускаются. Но тогда я начинаю думать, что все может сразу перемениться... Не смейся, я убеждена, что так бывает... Ты веришь в чудеса?

— А что ты называешь чудом?

— Например, когда очень плохо, и вдруг становится хорошо, все меняется, то есть все такое же — город люди, вещи — и все другое... Понимаешь?..

— Мало ли от чего может измениться настроение? От глупости... Я вчера был у Соколовского. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? То есть более мрачного человека я, кажется, не встречал. Прихожу к нему, а он веселый, смеется, разговаривает. Я его даже спросил, что случилось. Он ответил: ничего, весна... Ему, навер-

но, под шестьдесят. Сколько же раз он видел весну? Если ты это называешь чудом, я верю в чудеса...

— Нет, я говорю не о погоде. Все может быть гораздо глубже. Ты встретишь кого-нибудь, полюбишь настоящего. Или начнешь работать, увлечешься. Как Сабуров... Ты сам говорил, что он счастлив. Может быть, у Соколовского какая-нибудь удача на работе, ты же рассказывал, что он очень увлекается работой...

— Он способен увлечься тем, что на Венере астрономы установили наличие жизни, больше ему ничего не нужно... Танечка, посмотри — наши влюбленные тоже идут в городской сад.

— Конечно. Там всегда много парочек. Будут целоваться. А что мы будем делать? Ругаться или хныкать?

— Нет, мы им пожелаем счастья. Жалко, не видно, какие они, но предположим, что они очень, очень милые...

Вот и городской сад. Летом в нем жарко, играет музыка, деревья задыхаются от копоти, пыли, на всех скамейках сидят люди, читают газеты, говорят о своих житейских делах. А сейчас людей мало — слишком грязно. Сейчас здесь только чудаки и влюбленные. Кое-где еще лежит снег. В тени на лужицах отсвечивает лед. А на солнце уже проступает яркая трава. Вдали большая лужайка, вся черная, только один уголок чуть зазеленел. На старой ветле набухли серебряные почки. Птицы суетятся, кричат, что-то ищут — то ли жилье, то ли пропитание, но кажется, что они разговорились о чем-то чрезвычайно интересном.

— Танечка, вот тебе полный ассортимент чудес...

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

— Зиме конец — раз. Пожалуйста, не возражай, я вижу, что тебе жарко даже в плаще, а ты хотела надеть пальто. Вербa раскрывается — два. Трава — три. А вот тебе и главное чудо, ты только посмотри!.. Бельенкий.. Буквально прорвался сквозь ледяную корку...

Володя сорвал подснежник. Танечка осторожно держит цветок в руке и смеется:

— А ведь правда, подснежник...

Влюбленные, которые все время шли впереди, сели на скамейку. Володя улыбается:

— Хорошо, что он подложил плащ, скамейка совсем мокрая... Видишь, я был прав — они действительно очень милы. По-моему, им вместе не намного больше лет, чем мне. Должно быть, студент-первокурсник. А она скорей всего еще в школе. Скоро выпускные экзамены. Но сейчас она об этом не думает. Сейчас у нее тоже экзамен, может быть самый трудный... Мне нравится, что они такие счастливые...

— Хорошо, Володя, что ты меня вытащил. В комнате темно, грустно. Сидела и про себя жулила. А здесь так хорошо!..

— Изумительно! Я никогда так не радовался весне, как сейчас... Знаешь, мальчишкой я обожал весной ломать лед на лужах. Раз даже попал по колени в воду, дома влетело... Это — неслыханное наслаждение! Сейчас я совершу абсолютно неприличный поступок. Член союза художников, о котором был лестный отзыв в покойном «Советском искусстве», Владимир Андреевич Пухов, тридцати четырех лет от роду, ведет себя в общественном месте, как мальчуган...

Володя бежит к большой луже, покрытой сверкающим льдом, и ногами бьет лед. Он входит в азарт — еще, еще!.. Танечка смотрит на него и смеется. А высокое солнце весны пригревает и Володю, и Танечку, и влюбленных на мокрой скамейке, и черную лужайку, и весь изыбший за зиму мир.

18

Лена сама удивлялась, что ей не хочется выбежать в школьный сад, что она идет по улице и не видит ни воробьев, которые купаются в лужах, ни сини неба, ни повеселевших прохожих. Окаменела я... Веру Григорьевну не узнать. А я, как сурок, не могу проснуться..

Смешными теперь казались ей давние обиды, гордость, сомнения. Все просто и непоправимо. С ней случилось то, о чем она прежде читала в книгах: она по-

любила Коротеева любовью, которая пересекает жизнь, а он ее не любит. Ничего здесь не поделаешь.

Солнце, смех, тот шум, который приходит сразу после молчаливой зимы, пугали Лену. Она шла по улице, отделенная от всех своим горем.

Потом она себя спрашивала: что же произошло? И не могла ответить. Все решило одно слово, самое простое слово, которое она так часто в жизни слышала.

Дмитрий Сергеевич ее увидел на углу Советской улицы возле остановки автобуса. Он шел по другой стороне улицы и громко крикнул:

— Лена!

И то, что он впервые назвал ее не Еленой Борисовной, а Леной, решило все.

Если бы Коротееву сказали за минуту до того, что он окликнет Лену, подбежит к ней, он не поверил бы: считал себя человеком, умеющим владеть собой; все его прошлое служило тому доказательством. Он шел по Советской, и в его мыслях не было, что он может встретить Лену. Рассеянно глядя по сторонам, он думал: мы познакомились весной. Значит, год! Теперь-то я знаю, что незачем считать месяцы или годы: все равно ее не забыть. Жизнь стала и тесной и пустой. Но все-таки какое счастье, что она существует! Она меня переделала, мне теперь странно подумать, что я мог зимой выступить на читательской конференции с глупыми рассуждениями. Все оказалось куда сложнее. Но Лены я больше не увижу...

Смущенные, они идут рядом, быстро идут, как будто куда-то торопятся. Они разговаривают, но не думают, о чем говорят.

— Я шел и вдруг вижу возле остановки...

— Странно, я сразу узнала ваш голос... Не знаю, почему я сегодня вышла... Я ведь все время сижу дома...

— Вы не торопитесь?

— Нет. А вы?

— Я?..

Дмитрий Сергеевич приподнял брови, удивленно поглядел: да, это Лена!

На подоконнике стоит женщина, моет стекла, и синие стекла светятся. Мальчишка ест мороженое. Девушка несет вербу. Вот это дерево Лена помнит — его привезли осенью, сажали вечером, кругом стояли, смотрели... Дерево еще совсем голое, но если прищуриться, на ветках немного зеленого пуха... Какое сегодня число? Ничего не помню. Не понимаю: что же случилось?.. Куда мы идем?..

— Куда мы идем? — спрашивает она себя вслух.

Четырехэтажный коричневый дом с башенкой. Здесь живет Коротеев... «

Они поспешно входят в подъезд. Здесь еще холодно: застоялась зима. Темно как! Не видно даже, где начинается лестница. Но они не чувствуют, что здесь холодно. Лена откинула назад голову, в темноте посвечивают зеленые туманные глаза. Коротеев ее целует. А с улицы доносятся голоса детей, гудки машин, шум весеннего дня.

Илья Эренбург
«ОТТЕПЕЛЬ»

*

Редактор В С ы т и н
Художник И Литвишко
Художественный редактор И. Царевич
Технический редактор С. Симонов
Корректор Е. Краснюк

Сдано в набор 3/IX 1954 г.
Подписано к печати 15/IX 1954 г.
А 06929, 84×108¹/₃₂. Печ л. 9
(7,38). Уч.-изд. л. 6,83. Тираж
45 000 экз. Заказ № 2191.
Цена 3 р. 30 к.

Издательство «Советский писатель»,
Москва К-104, Б. Гнезниковский пер., 10.
Типография «Известий», Москва,
Пушкинская пл., 5.

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва К-104, Б. Гнезниковский пер., 10, издательство «Советский писатель».